

Сергей
Кузнецов

Учитель ДЫМОВ

Роман

Финалист
премий
БОЛЬШАЯ
КНИГА,
НОС



Новая русская классика

Сергей Кузнецов

Учитель Дымов

«АСТ»

2017

УДК 821.161.131
ББК 84(2Рос=Рус)644

Кузнецов С. Ю.

Учитель Дымов / С. Ю. Кузнецов — «АСТ»,
2017 — (Новая русская классика)

Сергей Кузнецов умеет чувствовать время и людей в нем, связывая воедино жизни разных персонажей. Герои его нового романа «Учитель Дымов», члены одной семьи, делают разный жизненный выбор: естественные науки, йога, журналистика, преподавание. Но что-то объединяет их всех. Женщина, которая их любит? Или страна, где им выпало жить на фоне сменяющихся эпох? «Роман о призвании, о следовании зову сердца. О жизни частного человека, меняющего мир малыми делами, который не хочет быть втянутым в грубую государственную игру. О мечте. О любви, которая бывает только одна в жизни. О родителях, ценность которых люди осознают, только когда они уходят». Сергей Кузнецов

УДК 821.161.131
ББК 84(2Рос=Рус)644

© Кузнецов С. Ю., 2017
© АСТ, 2017

Содержание

Пролог	6
1	10
2	27
3	38
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Сергей Кузнецов

Учитель Дымов

Издательство благодарит Banke, Goumen & Smirnova Literary Agency за содействие в приобретении прав

© Кузнецов С.Ю.

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Моим коллегам по проекту «Марабу»

Пролог

Нина падает лицом в снег – и сразу резкая боль в ноге, багровые круги перед глазами. Неужели сломала? Как же она вернется? А может, голова от голода кружится, оттого и круги, а что в ноге боль такая, будто в лодыжку вбили старый ржавый гвоздь, так надо только встать, и все будет хорошо, и Нина пойдет дальше, и все будет хорошо, наберет еще брусничных листьев, и все будет хорошо, и вернется домой, к своей Жене.

Только надо немного полежать, собраться с силами.

Нина переворачивается на спину, пытается смахнуть прилипший к лицу снег. Вот, так-то лучше. Видны ели, все укутанные, красивые, сказочные. И небо – тоже красивое, синее, точнее – темно-синее. Если бы не деревья, увидела бы алую полосу заката, но если еще вот так полежать, увидишь и звезды, и месяц, то есть наступит ночь, и тогда уж точно отсюда не выберешься.

Поэтому – надо встать.

Нина садится – неловкая, закутанная в какие-то кофты и тряпки, – пытается подняться, опирается на правую ногу (вроде все хорошо, ничего не болит), потом переносит вес на левую и от боли едва снова не падает.

Значит, все-таки поломала. Или вывихнула. Сейчас неважно – вывихнула, поломала, сейчас главное – вернуться в деревню, а там кто-нибудь из старух посмотрит, скажет, что делать.

Нина пытается прыгать, опираясь на здоровую ногу. Нет, никак. Может, на ровном месте, на московском асфальте, у нее бы и получилось проскакать километр, но не здесь, в лесу, по колено в снегу, а то и по пояс.

Значит, нужна палка. Надо доползти вон до той ели, срезать нижний сук... какая Нина все-таки умница, что взяла с собой нож. То есть какая была бы дура, если бы не взяла, – кто же в лес идет без ножа? Хотя всегда удивлялась – зачем нож в лесу? От волков не поможет, а дрова рубить – так лучше топор.

Да, топор бы не помешал, придется сейчас эту ветку ножом пилить... но сначала надо доползти.

И Нина ползет.

Снег забивается в рукава, обжигает запястья. Левая нога вспыхивает болью на каждое движение, и в глазах темнеет – то ли Нина сейчас потеряет сознание, то ли солнце совсем зашло.

Надо доползти до вон той ели, повторяет про себя Нина, надо спилить этот проклятый сук, попытаться встать, дойти до опушки – о боже, километр, по снегу, с поломанной ногой! И надо успеть, пока совсем не стемнело, потому что в темноте... да, в темноте Нина наверняка собьется с пути. Надо дойти хотя бы до опушки, а там уже дорога, прямо к деревне, оттуда-то Нина доберется, там-то она все знает. Там минут десять до первой избы – ну, это если на двух ногах – десять, а так – все полчаса, и нет, Нина не пойдет в первую избу, если останется хоть немного сил, дотянет до второй, где живет Алена, вот кто ей поможет, точно.

Осмотрит ногу, скажет, что дальше делать.

Главное, не думать, как быть, если это действительно перелом. Потому что тогда – как же она будет работать? На что они будут жить? Женя одна двоих не прокормит.

Так что, если это перелом, может, и не надо ползти? Вот взять – и остаться здесь, Женя уже взрослая, тринадцать лет, лучше совсем без матери, чем с матерью-инвалидом...

Нет, нет, нет, это чушь какая-то. Даже не думай о таком, думай только про ближайшую цель: доползти до ели.

А что будет потом – потом и узнаем.

Но Женю она одну не оставит – нет уж! – и Нина делает еще один рывок сквозь колючий слежавшийся снег и вцепляется пальцами в заиндевевший корявый ствол. Подтягивается к ели двумя руками, с трудом садится, прислонившись к дереву спиной.

Теперь надо достать нож, говорит она себе. Снять мешок, залезть в мешок, достать нож. Главное, чтобы я его не вытрясла по дороге, как последняя разиня.

Разиня? Нет, она давно уже не разиня. Ни на пристани, ни на барже, ни на вокзалах не увидели у них с Женей ни одного узла, ни одного чемодана... чемодан, впрочем, и был один, фанерный, хлипкий, где лежали нарядные кофточки, сборник рассказов Чехова и вложенная в него единственная Сашина фотография. Кофточки давно выменяли на еду, Чехов сгинул в первом доме, куда их поселили, – небось, хозяйка-сволочь, Пелагея Ивановна, сперла, пустила на самокрутки или на растопку. Хорошо еще, что фотографию Женя под подушкой прятала. Вот ведь, совсем отца не помнит, а любит, как и положено дочке.

Ну, вот он, нож. Теперь, значит, за дело.

Замерзшее дерево почти не поддается, и Нина скребет его, снимая у основания ветки сначала кору, а потом – слой за слоем – древесину.

Была бы я бобром, думает она, могла бы зубами.

Впрочем, что за чушь? Была бы я бобром, я бы здесь сдохла давно.

Интересно, если бобра переселить из его ручья в совсем другой ручей, он освоится или нет? С другой стороны, кто знает наперед? Кто бы Нине сказал, что она, городская женщина, москвичка, будет собирать под снегом листья брусники или, того хуже, пилить еловую ветку ножом?

А кто бы сказал, что их будут эвакуировать на баржах, как скот, лес или уголь? Кто бы сказал, что немцы дойдут до Волги? Что Нина увидит, как фашистская бомба падает прямо за бортом, в каких-нибудь пяти метрах от нее с Женей, и ледяные брызги летят прямо в лицо?

Женя тогда была еще маленькая – испугалась и заплакала. Сейчас бы, конечно... ну, наконец-то! Нина вцепляется в еловый сук руками, повисает на нем всем весом, на голову сыпется с верхних ветвей рыхлый снег, а потом раздается хруст, и Нина падает в сугроб.

Получилось. Только надо найти нож в снегу, а то мало ли... еще пригодится. Значит, нож в мешок, мешок – за спину, сук в левую руку... ну, попробуем.

Нина прыгает раз, потом второй. Переводит дыхание. Ничего, можно. Главное – не сбиться с пути. Пока не стемнело, будет идти по собственным следам, заодно и снегу поменьше. Давай, Нина, давай! Только бы добраться до опушки, там уже недалеко, там ты точно не заблудишься.

Главное – помнить, зачем ты все это делаешь. Ты должна вернуться, потому что, если ты не вернешься, Женя останется совсем одна. А останется одна – никто о ней не позаботится. Алена, может, и была бы рада, но у нее своих пятеро и брат парализованный, куда ей еще одна малолетка?

Давай, Нина, давай! Ты же помнишь – кроме тебя, у Жени-то и нет никого. Ты должна вернуться!

Не для того же ты пережила эти две страшные зимы, чтобы сгнуться в лесу, в получасе от дома? Давай, прыжок, еще прыжок... вот завтра Алена обещала натопить баню, хотя бы тогда согреешься, верно? Хотя Женя до сих пор бани боится – с тех пор как Пелагея нам трубу закрыла и мы чуть не угорели. Нина тогда Женю – в одеяло и прямо в снег, за порог, а сама выскочила как была, голая, на радость соседским мальчишкам.

Пришла потом к Пелагее, спрашивает: что же ты, сука, делаешь? Ты нас что, убить хотела? Мало тебе того, что ты у нас по мелочи тырила, решила по-крупному разжиться?

Та, конечно, в ответ: да я случайно, да ты чего, Нин, как я могла, у тебя ж дите малое! Хорошо, что Алена услышала, сказала: брось ты ее, старую ведьму, давай со своей девкой ко мне.

Так вот и живут в одной избе: Алена со своими пятью и парализованным братом да Нина с Женей – *выковырянные*, как их здесь называют.

Ну, то есть, эвакуированные.

Нет, не надо, значит, думать про баню. Лучше вспомни что-нибудь из прошлого, из счастливого довоенного прошлого. Из тех времен, когда еще был жив Саша. Вспомни, что он тебе говорил, как тебя называл. Моя милая. Лапочка. Ниночка моя. А Женю – помнишь, как он называл Женю? Наш воробышек. Ты еще спросила: «Саш, почему воробышек?» – а он ответил: у нее волосенки на затылке торчат, как всклокоченные перья.

Ну, пусть будет воробышек.

Волосы, кстати, до сих пор такие, что любая расческа ломается, – взъерошенные.

Ох, Женя, птичка моя.

Как было бы хорошо верить, что Саша не превратился в ничто, не распался на атомы. Свекровь моя, Марина Прокофьевна, пока была жива, всегда говорила: в Бога – это вы как хотите, можете не верить, а вот вечная жизнь моему Сашеньке положена.

Ну что, Саша, видишь твою лапочку, твою Ниночку? Не узнаешь, небось, в этих семи одежках, круглую как шар, с красным лицом, с поломанной левой ногой. Прыг-скок, прыг-скок. Я тоже теперь, значит, как воробышек.

Давай, Саша, смотри на меня, гордись мной! Половина дороги, я уверена, половина дороги! А еще не стемнело, еще есть время, так что да, я доберусь, допрыгаю, доскачу... до опушки, а потом – напрямик до деревни, до Аленыной избы, а там ждет меня Женя, Женечка, доченька моя... наша с тобой, Саша, доченька!

Все, нет больше сил, надо передохнуть. Только не садись в снег, потом не встанешь. Прислонись к дереву, вот так. Палку свою из рук не выпускай, глаза не закрывай, а то будет как у Некрасова – *улыбка у бедной вдовицы играет на бледных губах*, – а нам этого не надо, нам только передохнуть – и скакать дальше.

Ладно, считай до ста – и вперед! Главное – не сбиться со счета, не ставить после двадцати девяти снова двадцать, не жульничать, не выторговывать лишние десять секунд передышки.

А это что за звук? Низкий и протяжный, ни с чем не спутаешь. Да, зря ты, Нина, остановилась – так бы за хрустом снега и не расслышала волчьего воя, может, было бы не так страшно. А теперь – да, теперь придется прыгать еще быстрее, потому что ты ж не деревенская, ты же не умеешь на слух определить, далеко волки, близко или вообще за соседним деревом, сидят, задрав морды к небу, воют и ждут, пока добыча сама прискачет, на правой ноге да еловой клюке.

А вот еще Алена говорила, был в соседней деревне случай: жила у одной старухи *выковырянная* семья, ну, так старуха свою внучку послала якобы им показать, где в лесу большой брусничник, а внучка их к лесу отвела, дорогу в самую глубокую чащу указала и бросила. Хорошо, встретился им случайно какой-то добрый человек, вывел к людям, а то съели бы всех волки, никто б и не понял, что случилось.

Нина, когда это слышала, рассмеялась: ладно, мол, Алена, это же сказка про мальчика-с-пальчик: завели в чащу и бросили, потому что есть было нечего! Что ты мне рассказываешь про соседнюю деревню?

Алена еще обиделась, сказала: а ты думаешь, сказки откуда берутся? Вот так оно и бывает: как голод, так тебе и людоеды, и в лес на верную смерть, и в бане заслоночку задвинуть, чтоб ты с доченькой твоей поскорей угорела! Сама едва спаслась, а туда же – сказки!

Да, когда Нина вернется в Москву – если вернется, – она никогда не будет смеяться над сказками. *Ложь, да в ней намек*. Чем страшнее, тем правдивей. Вот и волчий вой вроде всё ближе и ближе. Похожа ли ты, Нина, на Красную Шапочку? Только вместо пирожка несешь

брусничные листья, а вместо бабушки у тебя – девочка. Да и охотников – или дровосеков – поблизости не видать, все на фронте, бьют проклятого немца, чтоб ему пусто было.

А у тебя, Нина, свой фронт, своя война. Ты давай, прыгай – правая нога, еловая клюка, правая нога, еловая клюка – вот и доскачешь до опушки; пока хоть что-то видно, не собьешься с пути. Потому что ты повторяешь, как волшебное заклинание: Женя, Женя, Женя. Тебя ждет Женя, твоя дочка, твой воробышек, птенчик твой.

Пусть ваш Саша смотрит на тебя с небес – он знает, тебе еще рано к нему. Давай, Нина, давай, осталось совсем немножко!

Она доскачет до опушки, когда уже стемнеет, и потом, в темноте, еще час будет ковылять, приволакивая опухшую, пульсирующую от боли левую ногу. Не постучит в первую избу, доберется до Алениной двери, рухнет прямо в сених, и Женя подбежит к ней, причитая: *мама, мама, ну наконец-то!*

Да, на своей персональной, одинокой войне Нина выиграет этот бой, а наутро у нее начнется жар, она будет метаться, повторяя в бреду бессмысленные, бессвязные слова, обрывки стихотворных строчек, имена тех, кого давно нет, и через два дня умрет на руках у Алены. Перед самой смертью к Нине вернется сознание и она успеет сказать: *Женя, Женечка, как же ты? Не оставляйте, не оставляйте ее, она пропадет, пропадет одна!* – а потом глаза ее замрут, неподвижно уставившись в далекую, невидимую точку, и маленькая Женя, сирота тринадцати лет, горько зарыдает, вцепившись в остывающую мамину руку.

1

Зимний свет падает из окна. Она стоит в дверях, и мужчина, сидящий за столом, выглядит темным контуром, почти тенью.

Спустя много лет она, как и многие старики, будет жаловаться на склероз и, возможно, не захочет сознаться даже самой себе, что вот этот силуэт никогда не изгладится из памяти, словно выгравированный намертво, и в тот день, когда Андрей пройдет на кухню, сядет спиной к окну и опустит коротко стриженную голову, старое воспоминание опять вернется, неотвратимое, не желающее исчезать.

Наверное, виной всему зимний свет, зимний свет за окном или короткая стрижка, что бывает в моде лишь у тех, кому никогда не брили голову перед отправкой на фронт или в лагерь, лишь у поколения, не знавшего тифа и вшей.

Много лет назад, тем самым зимним днем 1947 года, она еще из прихожей услышала мужской голос, столь непривычный в квартире тети Маши. Впрочем, она говорила «тетя Маша» только про себя: Мария Михайловна настаивала, чтобы племянница обращалась к ней по имени-отчеству, хотя та всегда звала ее «тетя Маша», ну, раньше, когда до войны они приходили сюда, в этот странный богатый дом, в чудесную отдельную квартиру с двумя комнатами и кухней. Здесь было просторно, как во дворце, и, как во дворце, здесь жила своя принцесса: голубоглазая, светловолосая Оленька, красавица в черных лакированных туфельках и шелковых платьях – нереальных, почти кукольных. Таким же кукольным было и Оленькино лицо: тонкие черты, фарфоровая белизна, легкий, словно нарисованный румянец и губки, с самого раннего детства сложенные в капризную гримаску, которая только иногда уступала место мимолетной игривой улыбке, пробегавшей, точно случайная рябь по застывшей воде дачного пруда. Оленькина улыбка была очаровательна и внезапна, и потому каждый раз она не сводила глаз с двоюродной сестры в надежде поймать миг, когда кукольное лицо озарится этим проблеском счастья – невозможного, почти недостижимого.

Но была ли Оленька счастлива?

В том давнем довоенном мире она жила образцовой советской жизнью девочки из привилегированной семьи, не знавшей не только нищеты и голода, но даже бытовой тоски коммуналок: через два года после того, как она появилась на свет в роддоме имени Грауэрмана, ее отец, Аркадий Дубровин, ответственный работник Наркомтяжпрома, получил отдельную квартиру в недавно построенном для офицеров академии Фрунзе поселке Усачевка. Это, конечно, была глухая московская окраина, но Оленькина мама – тетя Маша, Мария Михайловна – все равно чувствовала, что ей несказанно повезло, и то и дело, как заклинание, повторяла дочери: «Видишь, какие мы счастливые!»

Оленька в ответ складывала губки в то, что казалось капризной гримаской, – ведь только этим она и могла скрыть смутную тревогу, почти с самого рождения поселившуюся в ее душе. По ночам, засыпая в своей детской, – немыслимая по тем временам роскошь! – Оленька покрепче зажимивалась, чтобы не видеть, как наползают из углов темные тени, как колышутся туманным занавесом между кроватью и окном, сгущаются призрачной фигурой на сундуке.

Откуда взялся этот страх, эта тревога? Зимой мама читала Оленьке книжки и водила в кино, весной папа ходил с ними в Парк культуры, летом отвозил к морю, в Крым. На Первое мая он сажал Оленьку на плечи, светлое платье плыло над толпой, и девочке казалось, что она и сама парит высоко в небе над головами демонстрантов, рядом с лозунгами и облаками, – она старалась улыбаться, как дети на плакатах, но от высоты кружилась голова и сосало под ложечкой.

Мама говорила «видишь, какие мы счастливые», а папа называл «своей маленькой принцессой», хотя знал, что настоящие советские принцессы жили в Доме на Набережной и в Романовом переулке, на тех недостижимых для него номенклатурных высотах, где гулял ледяной ветер ночного страха, от которого безнадежно сжимались сердца старых партийцев, стоило им в четыре утра услышать шум одинокого мотора за окном. По всему выходило, что Аркадию Дубровину повезло: он стал привилегированным советским работником, а потом карьера его словно сама собой остановилась, и вот уже изгнали Льва Троцкого, разгромили правый уклон, с помпой провели процессы вредителей и шпионов, посадили Ягоду, а потом и Ежова – но ничто не коснулось Оленькиного отца, ничто не задело, ничто не омрачило его благополучной жизни.

Возможно, спустя много лет, уже после хрущевских разоблачений, Ольга Аркадьевна – бывшая Оленька – спросит себя, не была ли ее тревога слабым эхом страха, который задолго до пресловутого 1937 года должен был поселиться в ее семье? Впрочем, вряд ли Ольга Аркадьевна задастся этим вопросом: ведь она навсегда запомнила отца высоким, одетым с иголочки красавцем, любителем сшитых на заказ костюмов, белоснежных рубашек и дорогих галстуков... запомнила его широкие плечи и широкую улыбку и, если бы захотела, не вспомнила бы даже легкой тени, омрачавшей папино лицо.

Возможно, именно поэтому Оленьке и было так стыдно за тревогу, которая слабо подрагивала в груди с самого раннего детства. Учителя говорили, что Оленька должна быть счастлива, потому что живет в первой в мире стране рабочих и крестьян, мама снова и снова повторяла: «Видишь, какие мы счастливые» – вот Оленька и хотела быть счастливой, вот и пыталась стать счастливой, старалась изо всех сил, но сердце предательски замирало от стыда и вины, когда она догадывалась, что не похожа на улыбающихся нарядных девочек из старых детских книжек, на лучезарных советских детей с красивых плакатов, украшавших город.

Оленька должна была быть счастливой, она почти что была счастлива – но всегда чуть-чуть недотягивала до недостижимого идеала, до той принцессы, которую хотели видеть родители, которой воображала ее двоюродная сестра, редко приходившая в гости и молча смотревшая из угла детской широко открытыми карими глазами.

Аркадий Дубровин пережил 1937 год и предвоенные посадки, и его выросшая дочь никогда не спрашивала себя, было ли это слепой удачей, не спрашивала, чем заплатил отец за попытку превратить жизнь своей семьи в сияющую картинку из советской книжки. Отрекался ли товарищ Дубровин, выступая на партийных собраниях, от старых друзей и учителей? Подписывал ли расстрельные списки, писал ли доносы на приятелей и коллег? Ольга не спрашивала себя об этом: ей, как и многим выросшим советским детям, казалось, что от прошлого ее словно отделяет темный занавес, сквозь который не проникают вопросы, не проходят ответы. По ту сторону остались довоенные годы, остались яркие, лучезарные воспоминания, осталось то, что никогда не вернется.

Осталось ее детство.

В октябре 1941 года ответственный работник Наркомтяжпрома Аркадий Дубровин проследил, чтобы жена и дочь благополучно эвакуировались в Ташкент, а потом отказался от брони и отправился на фронт, где погиб, как и множество других бойцов Красной армии, которой еще предстояло одержать победу в этой войне.

Вернувшись вместе с мамой из эвакуации, Оленька зашла в свою комнату и сразу вспомнила наползавшие из углов ночные тени. Сказала себе, что это были предчувствия будущего – войны, эвакуации, папиной гибели. Сев на край своей кровати, Оленька вспомнила, как папа нес ее на плечах, а внизу колыхались бугры людских голов, – и вдруг поняла, что ее детство в самом деле было счастливым: она была папиной маленькой принцессой, кукольной девочкой с картинки из старой книжки, улыбающейся пионеркой с праздничного

плаката. Она вспомнила, как папа хотел, чтоб она была счастлива, и пообещала, что обязательно будет счастлива, – в память о погибшем папе, о далеком довоенном детстве, вдруг оказавшемся безмятежно-лучезарным, безоблачно-вымысленным.

Возможно, ее мама поклялась в том же: во всяком случае, она сделала все, чтобы Оленькино отрочество было достойным продолжением детства. После рождения дочери Мария Михайловна не работала, но теперь с помощью друзей покойного мужа устроилась на радио и получила хорошую категорию. Когда-то Аркадий Дубровин покупал жене шелковые наряды и золотые украшения – и теперь серьги и кольца уплывали в руки спекулянтов, чтобы растущая Оленька не только не знала голода, но, как и хотел отец, оставалась принцессой – в трофейных лаковых туфлях и перешитых материнских платьях.

Портрет Аркадия Дубровина в рамке с черным бантом стоял в Машинной спальне – и, когда мамы не было дома, Оленька приходила и смотрела на улыбающееся лицо отца, задаваясь вопросом, достаточно ли папа доволен ею, достаточно ли она счастлива.

Такие же фотографии погибших отцов стояли дома у Любы, Люси и Светы, трех одноклассниц, с которыми дружила Оленька. Они тоже избежали нищеты и голода, тоже носили перешитые шелковые платья овдовевших матерей, тоже старались быть счастливыми и собирались поступать в хорошие вузы – в пед, иняз и даже МГИМО.

Оленька хотела стать актрисой, и это никого не удивляло: из четырех подруг Оленька считалась самой красивой, а ее мама работала на радио и, конечно, должна была знать всех-всех в театральном. Но, возможно, дело было в том, что теперь, когда в Оленькиной памяти детство превратилось в череду рисунков из детских книжек, ее будущее обернулось картинками с киноафиш, сделав взрослую Оленьку подобием Любви Орловой, на которую она и так с каждым годом становилась похожа все больше: тонкая талия, волнистые светлые волосы, широко распахнутые голубые глаза. Казалось: кто устоит перед такой красотой?

Но на вступительных экзаменах Оленька провалилась, и от этого столкновения с реальностью видение ее счастливого будущего должно было погибнуть, как Снегурочка при первых лучах солнца, – но, порывав неделю, Оленька заставила себя поверить, что трудности только укрепляют характер настоящей актрисы. Ну и ладно, сказала она себе, поступлю на будущий год, мне некуда спешить – и пока бывшие одноклассницы засыпали на лекциях и сдавали первую сессию, она продолжала изображать перед зеркалом Любовь Орлову, отрабатывая серию очаровательных гримасок. Она не завидовала поступившим подругам и даже немного гордилась, что не тратит молодость на иностранный язык или чтение Макаренко, как Люба и Люся, поступившие в иняз и пед.

Все изменилось в первый день студенческих каникул: вчетвером подруги отправились на каток, где оказалось, что только у Оли нет спутника. Молодые люди, красивые и спортивные, развлекали Любу, Люсю и Свету, а на несостоявшуюся актрису никто не обращал внимания – и Оленьке оставалось лишь одиноко скользить по льду, сохраняя на лице немного печальную, но такую кинематографичную улыбку. Коньки скрипели по льду, и Оленька старалась не заплакать – ведь глупо плакать на морозе.

Впервые после возвращения из эвакуации ей показалось, что она взвалила на себя неподъемную ношу, – она никогда не сможет быть счастлива, навсегда останется одна, брошенная всеми, никому не нужная.

Оленька не знала, что через неделю, прозрачным зимним днем, по дороге к остановке пятнадцатого трамвая ее увидит незнакомый взрослый мужчина и чуть замедлит шаг. Яркое зимнее солнце будет бить в глаза, Оленька скорее угадает, чем увидит его улыбку, но все равно улыбнется в ответ, а потом предложит зайти – согреться и выпить чаю.

Послевоенная Москва – город хулиганов, грабителей и бандитов, но Оленьке не придет в голову, что небезопасно приглашать чужого человека в пустую квартиру. Возможно, она решит, что новый знакомец – не какая-нибудь шпана, а взрослый, серьезный мужчина, его

нечего бояться... а может, мамины усилия увенчались успехом – Оленька так и осталась папиной маленькой принцессой, так и выросла, не замечая города, в котором жила, не зная страны, в которой родилась.

Морозным февральским днем на промерзшей московской улице она выглядит случайной гостьей из какого-то иного, хрупкого и зачарованного, мира: тонкая талия, светлые волосы, искрящиеся глаза.

Сказочное видение, заколдованная принцесса, эфемерная Снегурочка.

Той зимой Владимиру Дымову исполнилось тридцать. В начале войны завод «Каучук» дал молодому инженеру бронь, но Володя воспользовался ею только чтобы организовать эвакуацию завода на Урал. Это был всего лишь один из переездов, составлявших канву его жизни, и убедившись, что на новом месте все работает не хуже, чем в Москве, Володя отправился на фронт.

Он вернулся в Москву только в конце 1946 года, когда опять настало время наладить работу завода на новом (точнее, старом) месте.

«Каучук» выделил Володе комнату в общежитии. В ней жили еще пятеро фронтовиков, и каждый старался забыть грязь, кровь и смерть великой войны, используя проверенные тысячелетиями методы: дешевый алкоголь, беспричинное насилие и короткие связи, которые трудно назвать любовными. Их шумная жизнь пахла блудом, потом и перегаром, и Володя предпочитал ночевать на заводе.

По ночам в цехах было тихо, думалось хорошо, Владимир Дымов покрывал формулами страницы толстой тетради, и временами ему казалось: он понимает, что же поэты называют вдохновением.

Химия будущего была химией полимеров; Володя догадался об этом еще до войны, узнав, что в Ленинграде академик Лебедев синтезировал дивиниловый каучук. ДВК пока еще уступал натуральному в эластичности и клейкости, но Володя надеялся, что и эту задачу не так уж трудно решить. Возможно, следует использовать для синтеза не бутadiен, а другие ненасыщенные углеводороды? Или внимательнее присмотреться к экспериментам Гибсона и Фоссета, получившим из этилена и бензойного альдегида новый полимер, полиэтилен? Или разобраться в процессе получения бунy в Германии?

Если не считать часов *Selza*, единственным трофеем, привезенным им с фронта, были две немецкие монографии по химии полимеров. Их-то Володя и читал ночами в пустом цехе «Каучука», изредка заглядывая в толстый немецко-русский словарь Эрасмуса.

После бессонной ночи он возвращался с завода. Снег сверкал мелкими ледяными кристаллами. Морозный воздух обжигал легкие, отправляя атомы кислорода в путешествие по сложной системе кровеносных сосудов. В витрине на секунду вспыхнуло зимнее солнце, и Владимиру показалось, что вопреки всем законам физиологии привычный голод и двухдневная бессонница каким-то чудом взаимоуничтожились. В этот момент он был почти счастлив – необъяснимо и беспричинно.

Навстречу шла девушка. Приталенное пальто с меховым воротником, бархатная муфточка, светлый локон выбивается из-под шерстяного платка. В холодном свете зимнего солнца она предстала перед Владимиром пришельцей из полузабытого довоенного мира. Иней заблестел у нее на ресницах, Владимир улыбнулся – и девушка ответила ему улыбкой, той самой, что когда-то, еще до войны, дарила Жене надежду на невозможное счастье.

Женя не помнила своего отца – Александр Никольский умер, когда ей было всего два года, – и потому, пытаясь представить, как выглядел папа, всегда вспоминала его единственный снимок.

Фотографию сделали в ателье: инженеру Никольскому полагалось серьезно смотреть в объектив, но, видимо, в последний момент его что-то насмешило, и смущенная мальчишечья улыбка навсегда застыла на лице сорокалетнего мужчины. Показывая этот снимок маленькой Жене, мама всегда добавляла, что Саша был самым красивым мужчиной, какого она встречала. Наверное, так оно и было – когда Женя выросла и смогла проверить арифметикой мамины рассказы, она поняла, что Александр Никольский был старше своей жены на пятнадцать лет.

Он умер в сорок два от сердечного приступа. Женя смутно помнила его мать, бабушку Марину, которая пережила сына на три года, а от папы осталась только фотография, но и та навсегда исчезла вместе с фанерным маминым чемоданом, который незнакомый мужчина с колючими глазами вырвал из рук у Жени на переполненной полустанке, название которого девочка не запомнила. Секунду она колебалась, а потом все-таки не бросилась следом за вором, а вместе со всеми побежала к теплушке – поезд почти отходил от платформы. Женя ничего не ела уже два дня и все равно не догнала бы похитителя, а поезд должен был привезти ее в Москву, где остался последний родной человек, мамина младшая сестра Маша, обительница двухкомнатного дворца, мать Оленьки, маленькой светловолосой принцессы.

Женя позже не могла вспомнить, как добралась от вокзала до улицы Усачева, как вообще отыскала дорогу, как дошла и не упала в гостеприимный московский снег, в котором так хорошо было бы уснуть, но ранним зимним утром 1943 года Мария Михайловна Дубровина открыла дверь и увидела на пороге девочку – исхудавшую, почти истаявшую. На незнакомом лице распахнулись большие карие глаза, и девочка еле слышно сказала:

– Мама умерла в прошлый вторник.

Мария Михайловна кивнула:

– Заходи.

Спустя много лет, взрослой женщиной вернувшись в этот дом, Женя невольно задумается: что заставило Марию Дубровину принять неуклюжую девочку-подростка, сироту из голодной деревни? Память об умершей сестре? Боязнь потерять квартиру, которую после гибели мужа вполне могли уплотнить, оставив Марии Михайловне с дочерью одну комнату и вселив во вторую какого-нибудь пролетария? Или родственные чувства, никак не проявившиеся в последующие годы? Но спрашивать об этом тетю Машу было уже поздно – да, собственно, и незачем.

Не задавая лишних вопросов, Женя навсегда осталась благодарна за тепло отдельной московской квартиры, за спасение от неотступного изнуряющего голода, за ночной покой, спускавшийся, когда, лежа на сундуке, Женя вслушивалась в дыхание двоюродной сестры, спящей рядом в уютной постели.

Когда-то Женя мечтала жить в этом кукольном доме, но теперь мечта сбылась, и Женя видела, что ежедневная жизнь обитателей сказочного дворца мало отличается от жизни коммуналки, где она провела детство. Мария Михайловна и Оленька точно так же стирали белье, мыли пол, чинили прохудившиеся чулки, стояли в очередях – и постепенно Женя взяла на себя все эти дела, такие привычные, напоминавшие о том времени, когда мама еще была жива. После двух лет в деревне это было совсем не трудно – и, в конце концов, только так она могла выразить благодарность тете Маше и Оленьке.

Казалось, Мария Михайловна не замечала Жениных стараний – вероятно, до войны, пока еще был жив муж, она так же не замечала приходящую прислугу, – а вот Оленька не забывала поблагодарить сестру легким полунаклоном головы и той самой улыбкой, от которой по-прежнему вздрагивало Женино сердце.

Когда-то Женя мечтала быть похожей на Оленьку, но, живя с ней бок о бок, поняла, что мечта ее недостижима. Дело не в перешитых шелковых платьях, не в блестящих туфлях, даже не в волнистости светлых волос и фарфоровой красоте лица – Женя разглядела

в Оленьке самое главное: какую-то неуловимую легкость, небрежность, умение принимать любые подарки судьбы как должное, будто ради них Оленька и появилась на свет. Жене казалось, что Оленька, эта юная жительница голодной, только что пережившей войну страны, обладала удивительным даром – она умела быть счастливой. Блеск летнего солнца в свежeweымытых московских окнах, желтые и багровые осенние листья на тротуарах, пушистый снег, повисший в воздухе, и трели птиц прозрачными весенними ночами – все это наполняло Оленьку радостью, и от этого весь окружающий мир оказывался лишь декорацией, подчеркивал Оленькину красоту и изящество, которых в глазах Жени ничто не могло омрачить.

Женя любила Оленьку безответно и неутолимо, как умеют любить только младшие сестры: приходя домой, она прислушивалась – дома ли? или ушла на каток, сбежала в кино, в гости к подружкам? Чаще всего Женя находила ее в большой комнате перед зеркалом: Оленька репетировала, представляя Любовь Орлову. В такие минуты ее лучше было не трогать, и потому Женя садилась в уголок с учебником – готовиться к поступлению в медицинский, куда собиралась этим летом, после десятого класса. Только иногда, поднимая глаза от химических формул, она любовалась сестрой.

Женя привыкла прислушиваться, входя в квартиру, и потому тем зимним днем 1947 года сразу поняла, что Оленька на кухне: переливчатый девичий смех вторил мужскому голосу. Женя повесила на вешалку пальто (оно было маловато, как и почти все вещи, которые она донашивала после сестры), сняла валенки и повернула на кухню: она замерзла, и ей захотелось горячего чая.

Зимний свет падал из окна. Она стояла в дверях, и мужчина, сидевший за столом, выглядел темным контуром, почти тенью.

Потом он поднял глаза и улыбнулся.

В Жениной жизни мужская улыбка была редкостью. Как все девочки ее поколения, после введения раздельного обучения она уже четыре года училась в школе, где не было мальчиков, а из-за войны не осталось даже учителей – одни учительницы. И мальчиков, и мужчин она встречала только на улице, где единственной мужской улыбкой была глумливая, кривоватая ухмылка, которая заставляет убыстрять шаг и прятать лицо, словно от ветра или от стыда.

Но эта улыбка была совсем иной. Стеснительная и вместе с тем открытая, она как бы говорила миру: «Вот он я, мог бы быть и получше, но уж какой есть». Именно таков редкий (и оттого еще более обаятельный) тип классической русской улыбки: в ней нет ни кокетства, ни иронии, ни скрытой угрозы. Пройдет много лет, и Женя узнает ее в хроникальных кадрах гагаринского триумфа – еще до того, как улыбка первого космонавта перейдет на бесконечные плакаты и открытки.

Но это будет не скоро, а сейчас Женя смотрит на незнакомого мужчину, он улыбается ей, а потом говорит:

– Здравствуй, меня зовут Владимир.

Вот так зимнее солнце морозного дня сведет их вместе: неприкаянную послевоенную принцессу, вернувшегося с фронта солдата и бедную сиротку из старой сказки.

* * *

Аркадий Дубровин из-под черного банта смотрит, как его вдова, собираясь на работу, красит губы у трюмо. Видишь, Аркаша, как оно все получилось, беззвучно говорит Маша мертвому мужу, а я ведь старалась, делала что могла, Оленьку растила такой, какой ты и хотел, – чтоб она была умной, красивой, счастливой. Нелегко, разумеется, но я же старалась, правда? И где я ошиблась, скажи?

Не скажет. Молчит Аркадий Дубровин, теперь – мертвая фотография, а когда-то – высокий широкоплечий красавец, улыбчивый блондин, уверенный в себе сотрудник Наркомтяжпрома, сначала Машин ухажер, потом жених, а затем муж. Все Маше завидовали, все на Аркадия заглядывались – и подружки, и даже Нинка. Маша до сих пор думает, что Нинка и за Сашу своего замуж выскочила, только чтобы от младшей сестры не отставать. Тоже, учудила – муж на пятнадцать лет старше, считай – вышла замуж за старика. Хотя, если вот теперь подумать, – какой же Саша был старик? Сорок лет, через два года и самой Маше столько будет, нормальный, оказывается, возраст. Была бы одинокая женщина – от кавалеров бы отбоя не было, а так – кому она нужна, с двумя девчонками? Была бы одна Оленька – еще куда ни шло, но ведь и Женька тут же...

А ведь как Маша все хорошо рассчитала после Аркашиной смерти! Провела ревизию колец, брошек и серег, выбрала что похуже... пересчитала платья, отложила что получше... устроилась на работу, получила хорошую категорию. Можно было не надрываться, всего хватило бы, чтобы дорастить Оленьку до конца школы, а повезет – и до конца института. Кто же знал, что однажды утром на пороге появится замерзшая девочка – худюшая, несчастная, незнакомая... вот только на костлявом лице – огромные карие глаза, те самые, Нинкины.

«Ну что, Аркаша, я могла поделаться?» – спрашивает Маша мертвого мужа. Я даже и решить ничего не успела, губы сами сказали: *заходи!* – ну и все, не выгонять же ее потом? Я тогда страшно испугалась, ты помнишь, я тебе говорила. Думала про себя, что я умная, расчетливая женщина, а тут – даже мигнуть не успела, как взвалила на себя еще одного ребенка. Пришлось и работать сверхурочно, и полторы ставки выпросить, и кольцо продать, которое ты мне на десять лет свадьбы подарил, – я страшно разозлилась, и на себя, и на Женьку, но больше всего – на Нинку. Вышла замуж за старика, без копейки, без перспектив, да еще, оказалось, с больным сердцем. Эвакуировалась, как дура, в какую-то глушь – и там умерла! Простудилась и умерла. Тоже мне, старшая сестра! Никакой ответственности, никакой заботы о близких.

А знаешь, Нинка, ты всегда такая была – только о себе думала. А я вот дочку-то твою вырастила, не бросила. Я ее, может, в строгости держала – но, ты пойми, я ведь очень испугалась тогда, я от себя не ожидала, что так сразу ее в дом возьму, даже не спрошу – может, у Саши твоего родственники какие остались? А что в строгости держала – так, может, оно и лучше, жизнь-то нынче не сахар.

Маша надевает блузку, потом жакет, осматривает себя в зеркале. Ну, нормально, для работы сойдет – хотя на улице весна, хочется праздника, хочется одеться, как раньше одевалась, легкое платье, туфли на каблучке, и чтобы все мужчины оборачивались – ах! Но мужчин-то теперь мало осталось, и оборачиваются они вслед молодым, стали привередливы, как была когда-то она сама... им теперь совсем девчонок подавай! – и тут она снова вспоминает этого Володю, а ведь она и не забывала, ни на секунду не забывала, и когда про Нинкиного Сашу вспоминала, и когда про свое замужество – как тут забудешь, когда вокруг собственной дочки такой крутится... на двенадцать лет старше, фронтовик, без дома, без семьи. Маша так Оленьке и говорила, раз за разом: *Он же взрослый мужик! Ты хоть понимаешь, что это значит? Ты бы лучше со сверстниками гуляла, а то принесешь в подоле – что делать будешь?* – но Оленька только кривила губы презрительной театральной гримаской: мол, мама, что за глупости, в самом деле! Какое *в подоле* – мы просто дружим, да и вообще, Женька все время с нами, мы и вдвоем-то не остаемся, Женька, ну скажи ей, правда?

И Женька кивала, мол, да, Мария Михайловна, мы всюду втроем, мы только дружим.

И каждый вечер Маша возвращалась с работы и уже из прихожей слышала, как они втроем разговаривают на их маленькой кухне, пьют чай и смеются, – и впервые за эти годы радовалась, что когда-то взяла к себе Женьку, вот и хорошо, пусть теперь присматривает за сестрой, а то, неровен час, останется Оленька с этим Володей вдвоем – а дальше знамо что!

Но вот на календаре закончилась зима, потом на улицах растаял снег, появились первые зеленые ростки, москвичи вернулись на свои огороды, разбитые где попало во дворах и парках голодного города, а Оленька, Женька и Володя стали все чаще уходить из дома, и по вечерам Маша сидела одна и думала: что же он за мужик, что с двумя все время шатается? Вот ведь сколько вокруг одиноких девушек! Нашел бы кого-нибудь себе по возрасту, в самом, так сказать, соку, а Оленьку мою оставил бы в покое, сгинул куда-нибудь!

Но нет – никуда Володя не сгинул, все так же ходит почти каждый день, пьет чай, смеется, рассказывает какую-то ерунду.

Маша вздыхает, бросает прощальный взгляд на фотографию мужа и выходит из комнаты.

Эх, Аркаша, думает она, был бы ты жив – может, ты бы этого Володю отвадил? А я... что я могу? Одинокая женщина с двумя детьми и полутора ставками на работе – где сил взять?

С началом весны они в самом деле стали то и дело уходить из дома: могли сесть на двадцать третий автобус и поехать к Крымскому мосту, гулять там по Хамовнической набережной, глядя, как трещит лед, или, перейдя Москву-реку, отправиться в Парк культуры, – а могли ни на каком автобусе никуда не ехать, просто бродить по соседним улицам, глядя на еще сохранившиеся деревянные дома.

Теплой апрельской ночью Женя сквозь дрему вспоминает, как пару недель назад они втроем пошли в Новодевичий сквер, где недавно открыли для богослужения Успенский храм; заходить, конечно, не собирались, но было интересно поглядеть на людей, которые на тридцатом году советской власти всё еще верят в Бога. Был ясный весенний день: Володя и Оленька о чем-то перешептывались, а Женя смотрела, как, разминая ногами талый снег, тянутся ко входу в храм старики и старухи. Какое-то воспоминание шевельнулось в ее душе – словно она, Женя, однажды уже была тут, уже шла вместе с другими прихожанами к распахнутым церковным дверям... но нет, с чего бы?

Наверно, просто померещилось – просто померещилось, а сейчас просто вспомнилось.

Женя уже почти засыпает, но тут Оленька окликает ее:

– Женька, ты спишь?

– Неа, – отвечает Женя.

– А ты тоже заметила, что Володя в меня влюблен?

Женя молчит, потом неуверенно отвечает:

– Не знаю... наверное, да. Иначе зачем он к нам все время ходит?

– Может, ему просто больше некуда пойти? – тревожно спрашивает Оленька. – Ходит, например, чтобы погреться?

– Да ладно тебе, – возмущается Женя, – сейчас уже тепло, какое там греться! Весна же!

Они молчат. Женя даже думает, что Оленька уснула, но та говорит:

– А знаешь, я, наверное, тоже в него влюбилась. Я каждый вечер засыпаю и представляю, как он завтра к нам снова придет. Глаза закрою – и вижу его лицо. Глаза там, брови, губы... как он улыбается, как щурится на солнце... как будто мне кино показывают, представляешь?

Женя кивает в темноте, непроницаемой, как ее мысли. Значит, вот это и есть любовь, думает она. Та самая, о которой в книжках и в кино. О которой старенькая учительница литературы говорила, что это счастье, которое не каждому достается в жизни.

Вот, значит, Оленьке досталось.

Только что она дальше будет делать с этой любовью? Напишет Володе письмо, как Татьяна Онегину? А вдруг он ей ответит, как Онегин Татьяне?

Хотя нет, кто же так ей ответит, такой красивой, такой счастливой?

– И я все время думаю, – продолжает Оленька, – а он меня вспоминает у себя на «Каучуке» или там ночью в общежитии? Рассказывает про меня своим друзьям?

Она садится в кровати. Луна светит сквозь неплотно прикрытые шторы, и Женя думает, какой красивой парой они будут – Володя и Оленька. Как в кино.

– Знаешь, если бы он меня позвал, – говорит Оленька, – я бы за него замуж вышла. Вот прямо сразу, без всякого там, сразу бы сказала «да!» – и все!

Две девушки еще долго шепчутся, снова и снова вспоминая, что Володя сказал сегодня, или вчера, или на прошлой неделе, – или что он мог сказать, еще скажет или, наоборот, о чем промолчит, и в конце концов Женя засыпает под голос сестры и, закрыв глаза, видит Володино лицо... глаза, брови, губы... как он улыбается, как щурится на солнце... видит ясно, как в кино.

В кино они отправятся только летом – в «Ударнике» будут показывать «Весну», первый послевоенный фильм с Любовью Орловой. На этот раз главная звезда советского Голливуда сыграла сразу две роли – актрису Веру и женщину-ученого Ирину. Володя сидел между девушками, но Женя все равно слышала особенный, залиvistый Оленькин смех – Оленька всегда так смеялась, стоило ей оказаться рядом с Володей. Но когда Орлова запела о прохожем, которому *и вешняя вода – ерунда*, засмеялся весь зал, кроме Оленьки, и тогда Женя скосила глаза и увидела, что белокурая головка сестры лежит на Володином плече, а его ладонь накрывает Оленькину руку. *Весна идет, весне дорогу!* – пропела Орлова, но Жене почему-то стало грустно, и, чтобы отвлечься, она стала повторять про себя экзаменационные билеты по химии. Еще недавно Женя представляла, как придет к Володе и задаст ему какой-нибудь заковыристый вопрос, но теперь это не казалось таким уж удачным планом, и она повторяла билеты механически, словно заученное наизусть надоевшее стихотворение.

«Все равно я никуда не поступлю», – со злостью думала Женя.

Она ошибалась – не первый и не последний раз в жизни. Она сдала все экзамены и с трудом, но все-таки поступила, а вот Оленьку прокатали в театральный второй год подряд, хотя это ее вовсе не огорчило: теперь все свободное время она проводила с Володей, и, приходя домой, Женя старалась громче топтать в прихожей, чтобы случайно не застать целующуюся парочку в комнате или на кухне.

Похоже, даже Мария Михайловна смирилась с тем, что у ее дочери роман со взрослым мужчиной: во всяком случае, уже несколько месяцев она не заговаривала об этом с дочерью, и Женя с горьким облегчением перестала сопровождать сестру на прогулки. Сначала говорила, что надо готовиться к экзаменам, а потом уже Володя с Оленькой и сами перестали ее звать, и только в августе они все вместе отправились в Тушино, где в честь Дня Военно-воздушного флота проходил небесный парад.

На летном поле стояли палатки с газировкой и пирожками, в голубой безоблачной выси один за другим появлялись самолеты, показывая фигуры высшего пилотажа... потом пронеслись звенья истребителей, крыло к крылу, словно одна огромная птица. И наконец, реактивные истребители расчертили летнее небо белыми полосами – прекрасными и эфемерными, таявшими на глазах.

У Жени захватывало дух, и она все время напоминала себе, что эти военные самолеты – собственно, орудия убийства – служат сегодня делу мира, показывают нашу мощь и силу врагам Советской страны. И все равно с облегчением вздохнула, когда в финале раскрылись сотни разноцветных парашютов, словно кто-то высыпал на летное поле небесные цветы.

Когда они вышли с аэродрома, Оленька сказала, прижимаясь к Володе еще теснее:

– Все-таки, что ни говори, твой каучук – это совсем не интересно. А вот самолеты...

Володя рассмеялся:

– Знаешь, почему я не летчик? Потому что у них первым делом – самолеты, а у меня – девушки!

– Какие еще девушки? – с деланным возмущением сказала Оленька.

Володя засмеялся в ответ:

– Как какие? Вот вы с Женькой, – и левой рукой обхватил Женю за плечи.

Сердце тут же сделало «бум!», кровь прилила к лицу, но, кажется, никто этого не заметил.

Потом они сидели на кухне, разговаривали обо всякой ерунде, дурачились и шутили, и даже сама Женя смеялась, наверное, потому, что ей понравился праздник или просто вдруг на ровном месте стало прекрасное настроение, такое хорошее, какого уже давно не было, наверное, с самой весны.

Она наливала чай и любовалась на Володю с Оленькой. Женя всегда знала, что они красивые, но сейчас окончательно поняла, что они – красивая пара, будто сошедшая с афиши трофейной кинокартины в клубе завода «Каучук»: высокий стройный брюнет и светловолосая девушка с пышными плечами и грудью, рвущейся из выреза платья. Именно их долгим поцелуем должен завершиться фильм, но вместо того, чтобы целоваться, Оленька и Володя просто смотрят друг на друга, а потом улыбаются, и их улыбки зажигаются одна от другой, как бенгальские огни, такие непохожие и такие счастливые.

Женя вспоминает, как в детстве ловила отблеск улыбки на лице сестры, а теперь эта улыбка озаряет кухню ровным радостным светом, и Женя понимает, что Оленька выросла, она больше не девочка-кукла, не сказочная принцесса... на смену застывшему совершенству пришла томная кошачья грация, полусонное, тайное, скрытое от глаз, ленивое и мягкое потягивание. Женя переводит взгляд на Володю и видит, с каким напряженным вниманием он смотрит на Оленьку... она впервые замечает в нем это напряжение, сжатое, как пружина.

Он как будто ждет чего-то, он все время начеку, все время настороже, вдруг думает Женя, а потом спрашивает себя: а может, они оба просто ждут, когда я уйду, чтобы опять броситься друг к другу?

И тут пробили часы – за стеной, в большой комнате. Оленькина улыбка погасла, и она спросила обеспокоенно:

– Который час?

Володя посмотрел на циферблат трофейных *Selza*.

– Уже десять, – сказал он. – Чего-то твоя мама в самом деле задерживается – вроде она говорила, у нее нет вечерних смен на этой неделе.

Послевоенная Москва – город бандитов и налетчиков. В 1947 году их оставалось меньше, чем в 1945-м, да и Усачева с Хамовниками – не Марьяна Роща и не Тишинка, но все равно – Мария Михайловна никогда не возвращалась так поздно.

К счастью, тут во дворе зашумела машина, хлопнула дверца, раздался женский смех – Женя с Оленькой изумленно переглянулись, – а через пять минут ключ уже поворачивался в замке.

– Мама! – сказала Оленька, выходя в прихожую. – Я уже волновалась, что ты так поздно! Что-то случилось?

– Ничего не случилось. – Мария Михайловна скинула туфли и босиком пошла на кухню. – Вы мне что, отчитываетесь, когда приходите черт-те когда?

– Мама, я же никогда не хожу одна... – начала Оленька, но мама махнула рукой:

– А с чего ты решила, что я одна? Я тоже не одна! – Она рассмеялась и опустилась на табуретку. – И вообще, девчонки, брысь спать! Ночь уже! А вы, Володя, наоборот, не уходите! Я, может, хочу с вами поговорить как взрослый человек со взрослым человеком!

– Пойдем, – сказала Женя и потащила Оленьку в их комнату.

Обращение «девчонки» ее удивило даже больше, чем позднее возвращение тети Маши и непривычный запах вина.

Когда девушки ушли, Мария Михайловна закинула ногу за ногу, рассмеялась и заговорила низким голосом, прерываемым редкими взвизгами смеха, нервного, искусственного, но все равно чем-то напоминавшего переливчатый Оленькин смех, так хорошо знакомый Володе. Разговаривая, Мария Михайловна чуть раскачивалась, иногда так наклоняясь к столу, что Володя невольно отводил взгляд от ее глубокого декольте. Хотелось поскорее попрощаться и уйти, но он не мог перебить этот запинаящийся поток слов и поэтому продолжал сидеть, опустив глаза, стараясь не смотреть на собеседницу. А она говорила и говорила:

– Послушайте, Володя, мне скоро сорок. То есть как скоро? Через два года. Сорок лет. Вы представляете, что такое сорок лет для женщины? Вот вам сейчас, скажем, тридцать. Вы понимаете, у нас с вами разница в возрасте меньше, чем у вас с моей дочерью. Можно сказать, мы с вами почти сверстники. И при этом вы – молодой мужчина, а я – женщина на излете. И от этой мысли никуда не деться. Вроде смотришь на себя в зеркало – и все ничего, все на месте... ну, вы понимаете, о чем я, да? А потом думаешь «сорок лет» – и все. Сразу понятно – ничего мне больше не светит. А я ведь, между прочим, совсем не чувствую себя старухой. Мне, между прочим, многого еще хочется. И не в смысле всякого баловства, ну, вы понимаете, а внимания там, интереса. Чтобы подарки дарили. В театры приглашали. В ресторан водили... я, между прочим, сегодня первый раз за семь лет в ресторан ходила. Зато в «Метрополь»! Хотите, расскажу, что там было? Икра, рыба, американский джаз... А почему, Володя, вы не спрашиваете, откуда у меня такие деньги? Вы спросите, спросите, не стесняйтесь. Я вам отвечу: нет у меня таких денег! Это меня кавалер пригласил. Ухажер. Даже можно сказать – хахаль, если вам так понятней. Роман Иванович зовут. Тоже немолодой человек. Но зато – при деньгах. Мог бы пригласить молодую, а пригласил меня. Значит, я ему чем-то приглянулась, правильно? Хотя мне уже сорок лет скоро, да! Выходит, как говорится, есть еще порох в пороховницах! Хотя вот, например, вы, Володя... можно сказать, мой сверстник, а предпочитаете молоденьких. Вы вот с Оленькой моей гуляете, а случись что, кто отдуваться будет? Только не говорите мне, что женитесь! Куда вы на ней женитесь? В вашу общагу? Или, того хуже, ко мне в квартиру? Вот представьте – переедете вы сюда, Оленька ребеночка родит, и все это будет у меня на голове. Я и так никого к себе даже в гости привести не могу, а тут вообще... я же буду бабушка, все же об этом будут знать! А у меня, между прочим, не так много времени осталось. Всего два года! Так что вы с Оленькой подождите с этим самым, ну, вы понимаете, о чем я, да? Что «Мария Михайловна»? Заладил тоже – Мария Михайловна, Мария Михайловна! Я же сказала: мы с тобой, считай, сверстники. Зови меня просто «Маша», договорились?

В сентябре отмечали восьмисотлетие Москвы. Володя, Оленька и Женя шли в толпе, любуясь пышно освещенным городом. На площадях возвышались танцевальные площадки, на которых почему-то никто толком не танцевал.

– Мне кажется, – заметила Оленька, – здесь вообще почти нет москвичей. Ты посмотри на них: видно же, только из деревни приехали!

В самом деле, в толпе многие озирались испуганно и взволнованно.

– Ну и что? – сказал Володя. – Почему на празднике Москвы должны быть только москвичи? Страна большая, а столица одна на всех. Это общий праздник.

Когда стемнело, они вышли на Красную площадь. Праздничная иллюминация делала Исторический и Музей Ленина похожими на старинные сказочные терема – только в этой сказке их украшали портреты Сталина и Ленина.

– Красиво! – сказала Оленька.

Володя промолчал.

Они шли сквозь толпу, и, чтобы не потеряться, Женя взяла Володю за руку – и правильно сделала, потому что уже через несколько минут Оленьку оттерли, а толпа на переходе к улице Горького притиснула Женю с Володей друг к другу. Оглянувшись, Женя увидела сестру в нескольких метрах позади, и та махнула им рукой, мол, подождите меня.

Володя и Женя стояли, тесно прижавшись друг к другу, почти обнявшись. Жене показалось, что у нее кружится голова, – наверно, от того, сколько вокруг народу. Чтобы отвлечься, она спросила:

– Володя, а ты еще в школе решил быть химиком?

Володя посмотрел изумленно.

– Нет, – ответил он после паузы, – в школе меня совсем не интересовала наука, я хотел стать... я хотел заниматься другими вещами.

Не то в Володином голосе, не то в сильных руках, которыми он отгораживал Женю от толпы, вдруг снова почувствовалось то напряжение, которое она уже не раз замечала. Но сейчас это была не просто сдерживаемая сила – скорее, скрытая тревога, словно Володя вспомнил о чем-то опасном... может быть, о фронте, о войне?

И, чтобы отвлечь его от грустных мыслей, Женя зашебетала, словно какая-нибудь фифа из американского фильма:

– Ой, а мне всегда казалось, наука – это так интересно! Я даже когда учебники читаю, так волнуюсь! Ученые – это люди, которые меняют мир!

– Наука – это интересно, – кивнул Володя, – но нам только кажется, что ученые меняют мир. А на самом деле мир меняют совсем другие люди – например, те, кто решает, как использовать наши открытия и изобретения.

– Ты имеешь в виду... руководителей? – спросила Женя, все больше входя в роль игровой дурочки и от этого забыв слово «политики».

– Можно и так назвать, – ответил Володя. – Названия не важны, важно, что это люди, которые готовы принимать на себя ответственность за других людей. Люди, которые строят новый мир.

– И ты хотел быть таким человеком? – Тут толпа еще плотнее прижала ее к Володе, и сердце, как тогда в Тушино, отрывисто стукнуло в груди.

– Ну, поначалу да.

– А потом? – спросила Женя прерывающимся голосом.

– А потом перестал, – ответил Володя и попытался отодвинуться, мягко и решительно поворачиваясь к пробивавшейся им навстречу Оленьке. Женя подумала, что это вовсе не была тревога, просто Володя боялся, что Оленька потеряется, а теперь они снова все вместе, Володя обхватывает Оленьку за плечи, и они начинают протискиваться сквозь толпу, и, глядя на него, Женя думает, что Володе все-таки удалось стать человеком, который отвечает за других, пусть даже сегодня «другие люди» – это только Женя с Оленькой. Володя продолжает крепко держать Женю за руку, ей даже кажется, что он незаметно пожимает ее ладонь, и она тоже отвечает слабым пожатием.

Лишь когда они выбираются из толпы, Володя отпускает Женину руку, а потом поворачивается к Оленьке, и они целуются – впервые так открыто, на глазах у всех. У Жени внешне портится настроение.

– Давайте пойдем домой, – говорит она, – а то я устала.

Хватит себя обманывать, думает Женя, лежа на сундуке, который с каждым годом все неудобнее, все меньше и жестче. Не говори этого никому, но скажи себе самой: я люблю Володю. Это глупо, неприлично и, может быть, даже подло, потому что он любит Оленьку

и Оленька любит его. А Оленька мне сестра и даже, наверное, подруга. Они с тетей Машей приютили меня. Они все эти годы заботились обо мне, кормили и одевали – как же я могу влюбляться в Оленькиного жениха? Ведь на самом деле Володя – Оленькин жених. Я сама слышала, как они говорили, что если бы им было где жить, они сразу бы пошли и расписались, – значит, жених. А я в него влюбилась.

Женя прислушивается к ровному дыханию спящей Оленьки. Представляет ее лицо с широкими скулами, резко очерченными губами, светлыми волосами, разметавшимися во сне по подушке. Представляет Оленькино тело, утопающее в мягкой перине, по-кошачьи ленивое, представляет крепкие, как у Марики Рёкк, ноги и бедра, полные (как сказал бы Лев Толстой, «роскошные») плечи, пышную грудь, которую подчеркивает любое платье. Как можно не влюбиться в такую девушку? Вот Володя и влюбился. Все справедливо.

Женя повторяет «все справедливо», пытаясь заглушить тихий, почти неслышимый голос, который где-то глубоко всхлипывает, плачет, жалуется... какая же справедливость? У Оленьки есть свой дом, своя постель, да, у нее тоже нет отца, но она его хотя бы помнит! И мама ее жива, и Оленька живет со своей мамой, а не с чужими людьми, взявшими ее к себе из жалости, без любви. Почему же Оленьке достается все? Почему Володя, такой красивый и умный, выбирает ее? Ведь Оленька не умна, совсем не умна. Она и школу-то закончила с трудом, а в институт – в институт она никогда не поступит (теперь в голосе злорадство). Никогда! А я закончила школу на одни четверки и пятерки, я поступила, и не просто – а поступила, куда хотела, поступила в Первый мед! И почему Володя этого не видит? Почему не понимает, что ему не нужна Оленька, а нужна я, только я!

«Что ты говоришь!» – одергивает себя Женя. Володя – взрослый, умный мужчина. Он сам знает, кто ему нужен, и уж точно не мне это решать. И, если честно, мне ведь немного и надо: я не хочу обниматься с ним, не хочу целоваться... думаю, если бы Володя поцеловал меня, я бы просто умерла на месте. От ужаса или от счастья, но умерла бы. А Оленька – ничего, Оленька жива, значит, он правильно ее выбрал. И она такая красивая, такая счастливая. А я... я просто могу быть рядом, вот и все. Будем друзьями – мы же и так уже друзья, вот и будем дружить дальше, пока не состаримся и не умрем.

Женя улыбается и переворачивается на другой бок. Просто будем всегда вместе, повторяет она, и тут же все тело пронзает ледяной холод – как той зимой, в деревне, когда хоронили маму.

Мы не будем всегда вместе, понимает Женя. Рано или поздно Володя получит жилье от своего завода и они поженятся. Не в этом году, так в следующем. Не сейчас, так через пять лет. Он хороший инженер, ему быстро дадут хотя бы комнату в коммуналке, а если будет жена и ребенок, то, может, даже и две. А я останусь здесь, и мы будем видеться по праздникам – 1 Мая, 7 Ноября, день рождения....

Только я так не хочу, думает Женя. Не хочу.

Но что я могу поделать? Любовь – это не экзамен, к ней не подготовишься, ее не пересядешь.

14 декабря объявили: отменены карточки. Теперь все продукты нужно покупать в обычном магазине. Володя и Оленька, обнявшись, сидели на кухне, слушали радио и обсуждали, что будет с ценами.

– Понятно, что ниже, чем в «Особторге», – сказал Володя, – но выше, чем были по карточкам. Так что многим придется туго.

– А я довольна, – сказала Оленька, теснее прижимаясь к нему. – Я всегда боялась, что мы карточки потеряем или их у нас украдут.

– Ну, так хотя бы у всех был гарантированный минимум, – пожал плечами Володя, – а теперь, если нет денег, то что же – с голоду подыхать, как при царе?

– Ладно тебе, – ответила Оленька, – вон у тебя есть деньги, у мамы есть... я вообще никогда не слышала, чтобы у человека совсем не было денег.

– Ты, наверно, и про голод этой зимой не слышала, – сказал Володя, – а мне один парень на заводе такое про Молдавию рассказал – вспоминать не хочется. Говорит, даже хуже, чем в войну. Трупы ели, и все такое.

Оленька скривила носик. Это была одна из тех гримасок, которые она специально разучивала перед зеркалом, и теперь у нее получалось почти рефлекторно, мило и непосредственно – Володя сразу прекратил про голод и поцеловал ее в переносицу.

Хлопнула входная дверь: вернулась с работы Оленькина мама.

– Я на самом деле и раньше знала, что дело к этому идет, – объявила она, входя в кухню. – Меня Роман Иванович предупредил. Еще спросил, сколько у меня денег на сберкнижке, потому что там будут один к одному менять, а наличные – один к десяти. Ну, у нас то ничего в сберкассе давно не осталось, так что я даже предложила ему положить свои деньги на мой счет.

Недовольная гримаска пробежала по Оленькиному лицу: мамин ухажер был ей неприятен, хотя она и не видела его ни разу. Какой-то спекулянт, говорила она Володе, что мама в нем нашла? Хотела добавить «особенно после папы», но промолчала: что уж тут говорить, жаль, что Володя с папой не был знаком.

Конечно, Оленька никогда не заговорила бы так при маме – Марии Михайловне хватило сейчас одной ее гримаски, чтобы прикрикнуть в ответ:

– Это еще что такое? Я к тебе по поводу твоих кавалеров не пристаю. Хотя могла бы!

Она метнула недовольный взгляд на Володю. Тот вздохнул и посмотрел на *Selza*: пора было идти на завод.

Спускаясь, он встретил на лестнице Женю: теперь, поступив в мед, она приходила домой совсем поздно, а уходила ни свет ни заря.

– Как дела у наследников Галена? – спросил Володя.

Женя устало улыбнулась в ответ. Совсем девчонку замучили, подумал Володя и, поравнявшись, похлопал ее по плечу:

– Ты держись, Женька. Первый курс – всегда самый трудный.

– Спасибо! – ответила она и побежала вверх.

Хорошая девушка, подумал Володя, только застенчивая очень. Трудно ей будет найти себе парня. Познакомить ее, что ли, с кем-нибудь подходящим?

Выйдя из подъезда, он привычно задумался о подборе катализаторов для синтеза полимеров и тут же забыл про Женю. Но, даже продолжая вертеть в голове формулы, в глубине сознания – а может, в глубине тела – помнил тепло Оленькиных кошачьих объятий, и оно согревало его морозным декабрьским вечером.

Володя открывает бутылку: пенная струя фонтаном бьет в зенит, женщины с веселым визгом отскакивают, спасая праздничные платья, пробка стучается о потолок и откатывается за диван, на долгие годы затерявшись овеществленным воспоминанием об этой ночи.

– Ну, с Новым годом! – кричит Володя, разливая шампанское.

Они все знают: этот Новый год особенный. Впервые с 1930 года 1 января снова объявлено выходным. Целое поколение – поколение Жени и Оли – прожило детство без зимних праздников: у них не было ни Рождества, ни Нового года. Теперь праздник вернулся, а детство прошло. Так что же? Раз они взрослые, значит, можно налить им шампанского! Эх, жалко, удалось достать всего одну бутылку!

Следом за шампанским приходит черед водки, Володя и тетя Маша опрокидывают стопку за стопкой. Неожиданно для себя Оленькина мама пьянеет быстро – наверно, потому что злится на Романа Ивановича, который ни разу так и не позвонил после того, как забрал

из сберкассы свои десять тысяч, удачно обмененные по курсу три к двум вместо десять к одному.

– Он же на этом тысяч пять заработал, – говорил Володя. – По совести, должен был поделиться!

Женя всегда считала, что совести у спекулянтов не бывает, поэтому, услышав про сберкассу, сразу подумала, что ухажера тетя Маша больше не увидит: наверняка раскидал деньги по нескольким доверчивым женщинам, потом собрал урожай – и прости-прощай! Конечно, Женя не стала говорить об этом тете Маше – рассказала только Оленьке. Та привычно сморщила носик – мол, я так и знала! – но Володи рядом не было, гримаска пропала зря, а Женя вернулась к своим конспектам и учебникам. Впрочем, Женя была уверена, что, сколько ни учи, сессию она все равно провалит и из меда вылетит.

После очередной стопки тетя Маша обхватывает Володю за шею и говорит ему:

– Володь, я дура, да? Надо было украсть у него эти деньги – и все! В милицию он бы точно не пошел, верно?

– Вы все правильно сделали, Мария Михайловна, – отвечает Володя, осторожно высвобождаясь.

– Знаешь, когда тебе сорок, а денег нет, ты вообще никому не нужна! – продолжает тетя Маша. – Вообще! Вот скажи сам: ты умный, красивый, перспективный – правильно? – и кого ты выбираешь? Мою дочку! Еще бы! Ей же восемнадцать лет! А восемнадцать – это тебе не сорок! А ты посмотри на меня, разве я хуже?

Тетя Маша встает, расправив плечи и выпятив грудь в разрезе декольте. Она плохо держится на ногах – не схвати ее Женя за локоть, упала бы.

– Спасибо, деточка, – говорит тетя Маша, – спасибо.

И снова плюхается на диван к Володе, не обращая внимания на Оленьку, которая прижалась к нему с другого бока.

– Гони ее, Володь, – говорит тетя Маша. – В конце концов, сегодня наш праздник. Эти-то даже и не знают толком, что такое Новый год!

Женя видит, как Оленька, схватив Володину стопку, резко ее опрокидывает. И на этот раз морщится всем лицом – не только нос, но лоб, губы, даже щеки.

– Перестань, – говорит Володя, и Женя не понимает: это он Оленьке или тете Маше.

– Ничего я не перестану. – Тетя Маша снова пытается его обнять, и тут Оленька вскакивает и в слезах убегает к себе.

– Что? Не нравится? – кричит ей вслед тетя Маша, пытаясь подняться. – А ведь из-за тебя вся моя жизнь, вся моя жизнь впустую! Все из-за вас, из-за двух потаскушек! – Она тычет ярко накрашенным ногтем в Женю, и Женя смотрит с удивлением: мол, меня-то за что? я-то тут при чем? А тетя Маша продолжает: – Как Аркаша на фронт ушел, так и жизни не стало никакой! Сначала одну расти, потом вторая приперлась на мою голову! Думала – вырастут, уберутся куда-нибудь! Так ведь нет! Ты зачем, дура, в мед поступала, если тебе там даже общежития не дали? Шла бы куда-нибудь еще, уехала бы в другой город, хоть на край света – лишь бы от меня подальше! И этих двух с собой заberi, чтоб я не видела их больше! Ненавижу, ненавижу вас всех, – шепчет тетя Маша и внезапно заходится в судорожных пьяных рыданиях.

– Надо отвести ее в ванную, – говорит Володя, но Женя уже ничего не слышит, в ушах истошный крик: *хоть на край света, лишь бы от меня подальше!* – а и в самом деле, чего уж там, если *куда подальше*, то прямо сейчас подойти, открыть окно и сигануть вниз, пока Володя и вернувшаяся Оленька успокаивают тетю Машу в ванной. А что? Тоже выход, а другого, в сущности, и нет, потому что сессию она завалит, из меда с позором вылетит, ну и хорошо, уедет к черту из Москвы, пускай тут Володя с Оленькой поженятся, пускай живут

сами по себе, а она... она будет где-то далеко... но если она не может жить без Володи, тогда зачем вообще жить?

Но едва Женя подходит к окну, Володя кричит из ванной: *Женька, принеси еще полотенце!* – и она бежит к комоду, открывает ящик, ищет что похуже: самой ведь потом отстирывать.

Сессию Женя все-таки сдала: хоть и с тройками, но с первого раза. В первый день каникул она стоит напротив витрины продуктового: сколько же всего появилось! Но по каким ценам! Кило сахара – пятнадцать рублей, кило кофе – семьдесят пять рублей, кило гречки – двадцать один рубль. Может, и дешевле, чем было в «Особторге», но все равно – страшно дорого.

Вот так и выглядит моя жизнь, думает Женя, поворачивая прочь от магазина: все, чего мне хотелось бы, – рядом, но недоступно. Либо за стеклом, либо по цене, которую я не могу уплатить. А чего бы мне хотелось? Свой угол, свою семью, любимого. А мне всё это показывают только на витрине: квартира, но не твоя, любимый, но не твой, мама – ну, какая-никакая, но мама, живая мама! – и та не твоя!

С тетей Машей после новогодней ночи Женя не обмолвилась и тремя словами; да, впрочем, Оленькина мама и раньше была не слишком разговорчива с племянницей, а тут еще сессия, так что Женя была рада появляться дома пореже и сидеть в библиотеке допоздна.

Зря я не выбросилась тогда в окно, думает она, но сегодня эта новогодняя мысль кажется глупой и детской.

Женя открывает дверь, из кухни доносится громкий Володин голос, и сердце, в нарушение всех законов анатомии, сразу куда-то проваливается у Жени в груди, потому что она слышит, как Володя говорит:

– Мария Михайловна, я официально прошу у вас руки вашей дочери.

Кухни в конструктивистских домах плохо приспособлены для бесед вчетвером, поэтому Женя так и осталась стоять в двери, пока Володя объяснял, что два месяца назад он написал в несколько разных мест и вчера ему пришел ответ из Куйбышевского авиационного института, где работал кто-то из его однокурсников и где, конечно, тоже нужны химики, потому что какие же самолеты без топлива и сплавов, а это все химия, хотя и не совсем его, Володи, специальность, но, видимо, однокурсник расхвалил его так, что Володю готовы взять на работу прямо со следующего семестра и даже выделить служебную квартиру для него и – внимание! – его молодой жены. И поэтому Володя хотел бы как можно быстрее покончить с формальностями и вместе с Оленькой переехать по новому месту работы.

– А ты, Оленька, – ты-то хочешь за него замуж? – спрашивает Мария Михайловна, и Оленька отвечает «да, конечно» как-то даже непривычно сухо, без гримас и без смешков, и тогда ее мама начинает плакать – не как тогда, в новогоднюю ночь, с подвыванием и криками, а тихими, беззвучными слезами. Пока она плачет, все молчат, а потом Мария Михайловна достает носовой платок, вытирает мокрое лицо и говорит: – Оля, ты прости меня, дуру, за все, что я тут наговорила. Может, останетесь лучше? Как-нибудь все вместе... в тесноте, да не в обиде?

И Женя тоже хочет сказать «оставайся», но знает, что это бесполезно, и к тому же в горле застрял ком, она вообще ничего не может сказать и только молча смотрит, как Оленька качает головой:

– Нет, мама, мы поедem. Не хотим тебе мешать.

Тетя Маша переводит взгляд на племянницу:

– Выходит, Женя, мы с тобой вдвоем останемся?

И Женя отвечает:

– Нет, Мария Михайловна, я тоже уезжаю. Переведусь в Куйбышевский мед. Вроде вполне неплохой, – отвечает, и сама не верит своим ушам, потому что еще минуту назад у нее и мысли не было о Куйбышевском меде, но теперь ей очевидно, что, каким бы неплохим он ни был, перевестись из Москвы в Куйбышев, должно быть, не так уж сложно. В крайнем случае потеряет год, вот и все. Но зато... зато они будут вместе.

– Ой, Женька, как здорово! – радуется Оленька и, подскочив, целует сестру в щеку. – А я-то еще думала: как я там без тебя буду?

Женя улыбается и вдруг понимает: пока мы живем в такой большой стране, у нас не может быть безвыходных ситуаций. Из любой найдется выход – уехать в другое место, унести свою ситуацию с собой и там, на новом месте, найти выход, которого не было здесь.

Впервые за много лет она вспоминает, как плакала на маминой могиле, навсегда затерянной на чужом деревенском погосте. Ей было тринадцать, она стала круглой сиротой, и деревенские, стоявшие рядом, вряд ли могли ей помочь, хотя бы потому, что им не хватало еды для своих детей. Женя проплакала всю ночь, а потом, собрав все, что у нее осталось, в фанерный чемодан, отправилась в Москву, к маминой сестре тете Маше, которую всегда побаивалась и никогда не любила. Женя позвонила в ее дверь – и осталась здесь на пять лет, а теперь ей снова пора уезжать, и она подходит к немолодой, неподвижно сидящей женщине, целует в щеку, говорит: *спасибо, что приняли меня*, – и, поколебавшись, добавляет: *тетя Маша*.

Оформить документы и собрать вещи заняло чуть больше недели. Сумрачным февральским днем они прощались в просторной прихожей. Володя шутил, что у них с Оленькой – настоящий медовый месяц, даже с путешествием. Молодая жена была непривычно молчалива – как-никак, в этой квартире прошла вся ее жизнь. Тетя Маша выплакала все слезы в первые два дня и к прощанию сумела убедить себя, что только выиграла, избавившись от двух девиц, сковывающих ее по рукам и ногам.

Она обманывала себя: после отъезда дочери и племянницы она станет еще более одинокой. Впрочем, популярностью у мужчин Маша будет пользоваться много лет, куда дольше, чем рассчитывала. Никто из *кавалеров* не захочет остаться с ней надолго, кроме разве что одного – немолодого лысоватого бухгалтера, приехавшего с Урала в надежде осесть в Москве. Его Маша выгонит сама, узнав о романе с молоденькой сослуживицей, Оленькиной сверстницей. До конца жизни она будет говорить, что бухгалтер хотел всего лишь прописаться в московской квартире, но именно этого мужчину она будет любить больше других – хотя даже ему не скажет ни про свой настоящий возраст, ни про взрослую дочь в другом городе.

Женя попрощалась с тетей Машей и перед уходом еще раз заглянула на кухню. На этот раз небо за окном было затянуто тучами, и Женя подумала, что больше никогда сюда не вернется, никогда не замрет на пороге, глядя на холодный свет зимнего солнца.

В тот день Жене не было восемнадцати.

Сегодня Евгении Александровне восемьдесят с лишним, жизнь близится к концу, но вот зимнее солнце... оно все так же светит в окно той самой кухни. Старая женщина садится напротив Андрея, опустившего коротко стриженную голову, и со вздохом спрашивает:

– Ну, рассказывай... что там у тебя случилось?

2

За всеми предотъездными хлопотами Оленька не забывала главное. Пакуя туфли и перешитые мамины платья в довоенный чемодан, купленный еще отцом, уговаривая Женьку не брать с собой так много книг, всплакнув над детскими куклами, последний раз засыпая в своей детской кровати, тайком целуя фотографию в маминой комнате и прощаясь с мамой в прихожей, Оленька помнила: она уезжает из Москвы, чтобы стать еще счастливей. Ведь она теперь жена, она вышла замуж за самого лучшего на свете мужчину, за человека, который любит ее и которого любит она! Во всех фильмах именно в этом и заключался счастливый конец: любимые соединялись, сюжет прекращался, впереди их ждало только безоблачное счастье, бесконечное, как вечность после финального титра. Зачарованная принцесса дождалась своего принца, еще немного – и он посадит ее на коня и увезет в свое далекое королевство.

Оленька ехала навстречу счастью – но когда они сели в плацкартный вагон, впервые заподозрила, что сбилась с пути: в мечтах она представляла, что они будут путешествовать в таком же купе, в каком она когда-то ехала с родителями в Крым. Оленька давно уже забыла дорогу в эвакуацию – она всегда старалась забывать то, что мешало быть счастливой, – и железнодорожная поездка так и осталась для нее детским ожиданием каникул, предчувствием лета, моря и солнца: и вот плацкартный вагон, пахнущий застарелым потом, грязной одеждой и немытой чужой плотью, заставил померкнуть те картины безоблачной жизни, которые Оленька рисовала себе последние недели.

Тогда она еще не знала, что в Куйбышеве ей предстоят полтора месяца унижительных скитаний по общежитиям с их запахами забившейся канализации, сырости, плесени и неуюта; ей, никогда не жившей в коммуналках, придется слушать ночные крики пьяных соседей, узнать, как выглядит утренняя очередь в душ и туалет, и открыть для себя общую кухню, пахнущую прокисшей едой и медленно тлеющей сварой.

В этом мире Оленька не могла быть счастлива – ее зарок не выдержал встречи с тем, что было повседневной реальностью для миллионов ее сограждан: ей показалось, что она спустилась в ад, где ее тоска и отчаяние только обострились, потому что все это происходило именно сейчас, во время ее медового месяца, хотя она должна была быть счастлива как никогда.

Оказалось, что все Олино счастье осталось в Москве: для него не нужны были туфли и платья, для него не нужна была даже любовь – оно возникало просто от того, что утром можно было, толком не проснувшись, побрести в одной ночнушке в ванную, плеснуть в лицо теплой водой, зевнуть и потом, никого не стесняясь, пойти на кухню... на свою собственную кухню! на кухню в отдельной квартире, где у Оленьки есть своя собственная комната, где есть своя ванная и свой туалет, куда не ходят чужие! Только это и было настоящим счастьем, настоящей жизнью, которой ей, Оле, и было предназначено жить.

Когда-то, давным-давно, она обещала погибшему папе, что будет такой, какой он хотел ее видеть, умной и красивой, а главное – счастливой. Шесть лет она держала слово, но теперь, в самый неожиданный момент, ей было стыдно сознаться, что силы оставили ее. Но я ведь не виновата, шептала она, затыкая пальцами уши, чтобы не слышать ругань и скрип кровати за стеной, я не виновата, я по-прежнему хочу быть счастливой, но я не могу, я никогда не смогу быть счастлива здесь.

«Как же так получилось?» – спрашивала себя Оленька и снова и снова вспоминала Новый год, когда в своей комнате она так же затыкала уши, чтобы не слышать маминых пьяных криков и этих страшных слов – *хоть на край света, лишь бы от меня подальше!*

Так был разрушен кукольный домик ее детства, так мама, ее собственная мама, изгнала Оленьку из волшебного двухкомнатного дворца, где она только и могла быть счастлива, – и вот, давась рыданиями, Оленька клялась себе, что больше никогда, никогда не вернется в Москву, не переступит порог дома, где ее так предали!

Оленька впервые жила в общежитии – и впервые оказалась совсем одна: Женя устраивалась в Куйбышевский мед, а Володя, прибыв на место, выяснил, что для преподавания химии в авиационном институте нет даже самого необходимого. С утра до ночи он пропадал на работе: выбивал в бухгалтерии деньги на оплату реактивов, объяснял стекольщикам, какая химическая посуда нужна ему для лабораторных, требовал от хозяйки обеспечить нормальную работу вытяжки, а вернувшись домой, садился готовиться к лекциям, с каждым днем нервничая все больше.

Согласившись в свое время на предложение КуАИ, Володя даже не подумал, что все его представления о работе преподавателя получены из глубины студенческой аудитории: он не знал, как спланировать лекцию, как распределить материал по семестру, не знал даже, как принимать зачеты или экзамены.

В ночь перед своим преподавательским дебютом он долго не мог уснуть. Выйдя покурить в коридор (Оленька запрещала дымить в комнате), он напряженно замер у темного окна и вдруг вспомнил свою первую атаку, предательскую дрожь перед рассветом, волшебное и страшное опьянение многоголосого «ура!», когда твои ноги словно сами бегут по чавкающей глине, рот сам разевается в крике, а руки... руки сами делают важное дело – убивают себе подобных. Памятью о мелком осколке, встреченном где-то в Польше, заныла левая нога, и Володя, прихрамывая, вернулся в комнату.

Он совершенно успокоился: он как будто уже знал, что будет завтра.

И действительно, он вышел к доске, обвел взглядом лекторий, кашлянул, проверяя акустику, потом поздоровался, сказал: *меня зовут Владимир Николаевич, я буду читать у вас курс органической химии* – и внезапно ясно увидел каждого из полусотни студентов, понял, что и когда должен сказать, чтобы удержать их внимание... возможно, понял даже, какую оценку поставит каждому в конце семестра.

Он улыбнулся, взял сырой крошащийся мел и начал лекцию.

Хотя привезенные Женей из Москвы документы были в порядке, ректорат КМИ никак не мог взять в толк, почему москвичка из Первого меда хочет перевестись к ним в провинцию. В конце концов Женя сказала: «У меня сюда сестра переехала, а я с ней», – что было почти правдой и вполне устроило церберов, охранявших вход в мир прозекторских, операционных и моргов. Так Женя получила студбилет и даже место в общежитии с тремя другими медичками, с подозрением смотревшими на серьезную большеглазую девушку, приехавшую из самой Москвы.

На вахте общежития был телефон, и Жене каждый раз надо было просить у вахтерши черный эбонитовый аппарат с крутящимся тугим диском. Набрав номер общежития КуАИ, Женя звала Олю или Володю из двести тринадцатой комнаты, и весь разговор слушали вахтеры двух общаг: немолодая оплывшая брюнетка из медицинского и хромой фронтовик, густобровый и вечно небритый. Максимум, что можно было сказать: *я к тебе зайду через часок?* – формальный и бессмысленный вопрос, Женя и так знала, что Оленька никуда не выходит, по-кошачьи свернувшись на продавленной койке и дожидаясь возвращения Володи, – и значит, можно было и без всякого звонка дойти до авиационной общаги. Но дорога в один конец отнимала почти час, март выдался снежным и холодным, занятия в институте оказались ничуть не легче, чем в Первом меде, и когда вахтерша стукнула в дверь Жениной комнаты и позвала к телефону, Женя поняла, что не видела Володю и Оленьку уже две недели.

Она шла промозглым коридором, гадая, что же могло случиться – неужели просто так позвонили? – и, только услышав сквозь треск довольный Володин голос, поняла, даже не разобрав слов, что на этот раз всё в порядке и сегодня новости если и есть, только хорошие. И тут, наконец, Володя прорвался через электростатику помех и прокричал:

– Квартира! Нам дали квартиру!

Квартира, выделенная семье Дымовых, располагалась в старом, еще прошлого века, доме. Подбежав к подъезду, Женя увидела рядом с Володей и Оленькой невысокого седого мужчину: круглое лицо, очки в узкой оправе.

– Знакомьтесь, – сказал Володя, – это Валя, Валентин Иванович, он-то меня сюда и вытащил. А это – Женя, Олина сестра.

Валентин Иванович протянул руку, и, пожимая ее, Женя заметила, что верхняя фаланга указательного пальца неестественно искривлена влево. Женя поскорее отпустила ладонь, но все равно вдоль спины пробежала покалывающая гадливая дрожь.

Они поднялись на второй этаж, Валентин открыл дверь и передал ключ Володе:

– Принимай жилье, хозяин!

От потертой казенной мебели квартира выглядела официальной и нежилой, и Жене казалось, будто они все четверо пришли в приемную и ожидают, пока их вызовут в кабинет, – точь-в-точь как ждала она, пока ректорат КМИ примет решение на ее счет.

Квартира была совсем небольшая – комната, кухня и санузел. Женя подошла к окну. Во дворе дети штурмовали снежную крепость – видимо, уже последний раз в этом году: на тротуарах блестели лужицы талой воды, в них отражалось мартовское солнце.

– Надо выпить, – сказал Валентин, доставая из портфеля чекушку, и Женя пошла на кухню, где нашла в буфете несколько рюмок (и сразу выбросила одну, треснутую, – плохая примета).

Валентин разлил, мужчины выпили. Оленька с погасшим лицом опустилась на диван: то ли у нее уже не было сил радоваться, то ли она была разочарована тем, насколько новая квартира не похожа на ее московское жилье. Через пять минут Володя уже жаловался Валентину, что институтские снабженцы никак не хотят принять у него заказ на новое оборудование, и Женя, не слушая мужской разговор, еще раз прошлась по квартире. Диван мы развернем, думала она, а стол поставим к окну, чтобы Володя за ним работал. Тот стул выкинем – все равно он вот-вот развалится, не дай бог кто-нибудь шею себе свернет. Посуды еще купим, видела на барахолке совсем недорого. А вот сюда приедем что-нибудь, пальто вешать... хотя бы гвоздь или крюк какой-нибудь... Женя ходила мягко, деловито, по-хозяйски, из комнаты на кухню, а потом назад в комнату, и постепенно под ее взглядом квартира оживала: ведь это был первый именно ее дом – не мамы с папой, не тети Маши, а ее, Женин. Теперь только она решала, что и как здесь будет, – и радость поднималась в ее душе мелкими шампанскими пузырьками. Лишь на секунду Женя замерла – *постой, это ведь не твой дом, это дом Володи и Оленьки!* – но тут же улыбнулась и поспешила дальше: ну и что, что Володи и Оленьки, не они же, в самом деле, будут его обустраивать? Володя весь день на работе, а Оленька... ну, я с ней пять лет в одной комнате прожила, она и в родном доме не знала, где тарелки стоят.

Женя не слушает разговора мужчин, но из комнаты доносятся реплики:

– ...настоящая утопия для настоящего ученого...

– ...это утопия, скрещенная с гетто...

– ...только так и может существовать настоящая утопия!

Лишь через год Женя поймет, о чем говорили Володя и Валентин, а сегодня, когда они останутся вдвоем, она будет рассказывать, что собирается передвинуть, что выкинуть, а что – купить. На кухне Женя покажет, где тарелки, а где приборы, что надо бы поменять

при случае, а чего не хватает уже сейчас – полотенце! на кухне должно быть полотенце! – и, уже завершая неожиданную экскурсию, кивнет на деревянную скамью у стены и скажет:

– А вот это прямо сегодня надо вынести, лучше еще пару табуреток купить.

– По-моему, нормальная скамейка, – возразит Володя, немного ошарашенный Жениным напором, но все же улыбаясь – той самой своей улыбкой.

– Нормальная, да, – кивнет Женя, – но мы сюда вечером раскладушку будем ставить.

– Зачем раскладушку? – удивится Володя.

В ответ Женя только пожмет плечами:

– Я буду на ней спать.

Пару лет назад Володины трофейные *Selza* внезапно остановились. Он отнес их к старому часовщику, который снял заднюю крышку, продул и почистил внутренности. Часы затикали снова, а старик показал Володе скрытую внутри корпуса пружину, которая, скручиваясь и расправляясь, приводит в движение сложный часовой механизм.

С тех пор Володя часто думал, что такая же сжатая пружина – пружина его тайной тревоги – дает ему силы и определяет его поступки. Он изучал химию в университете, выбирал себе специальность на старших курсах, искал работу, ехал в эвакуацию и на фронт, возвращался на завод и увольнялся с завода, – и внутри, подтверждая верность каждого шага, пощелкивала взведенная пружина. Иногда по ночам, прислушиваясь к храпу попутчиков или соседей по общежитию, Володя улавливал ее напряженную вибрацию и не мог уснуть от постоянной, неослабевающей усталости.

Когда он увидел Оленьку впервые, она показалась ему прекрасным видением, пришедшей из далекой, почти нереальной жизни, из тех времен, когда будущее казалось ясным и беспечным, когда ему не исполнилось и шестнадцати, он был мальчишкой, почти ровесником этой девушки, мечтал о славе и любви. Он стал приходить к Оленьке домой, потому что рядом с ней тревога успокаивалась, он не чувствовал больше внутреннего напряжения своей пружины, словно Оленька заражала его своей легкостью, радостью и беспричинным счастьем. Володя глядел в ее бездонные голубые глаза, и впервые за много лет ему мерещилось, что он обрел покой.

Но длилось это недолго. Однажды ночью Володя проснулся, как просыпаются от кошмара: холодный пот, бьющееся сердце, боль в грудной клетке. Он пытался вспомнить, что ему приснилось, но не смог – и лишь когда это повторилось на следующую ночь, понял: никакого кошмара не было, это с утроенной силой вернулась тревога, и пружина в груди сжалась так, что больно дышать. Внутренний механизм, определявший жизнь Володи, разладился, и вместе с ним в любой момент могла разладиться и сама его жизнь.

Надо перестать с ней видеться, подумал Володя, но на следующий день снова сидел на маленькой кухне и пил чай. В тот вечер он старался не встречаться с Оленькой глазами и потому впервые обратил внимание на Женю: неглупая и забавная, похожа на взъерошенную птицу, но в ее больших карих глазах скрывалась грусть, такая же бесконечная и беспричинная, как счастье, сквозившее в глазах Оленьки. Стоило Володе встретиться с Женей взглядом, как его умолкший было внутренний механизм заводил старую песню тиканья и щелчков – и ночью к Володе приходил привычный некрепкий сон без всяких панических пробуждений.

Так Володя понял, что Женя словно нейтрализует Оленьку, благодаря чему его тревога не исчезала, а лишь приглушалась и смягчалась. Глядя на Оленьку, Володя верил в возможность безмятежного счастья – переводя взгляд на Женю, снова вспоминал, что счастье недостижимо. Эти колебания позволяли Володе ежедневно калибровать свой внутренний механизм, подбирая правильную балансировку, защищая от внезапных скачков, предотвращая выход из строя.

Все изменилось тем летом. Когда они познакомились, Оленька была еще девочкой, но за полгода любовь – или естественный процесс взросления – превратили ее в красивую молодую женщину, статную и соблазнительную. Холодную кукольную красоту сменила теплая кошачья грация невинных ласк и девичьих поцелуев, и вот уже недавно обретенное Володей радостное спокойствие уступило место жгучему желанию, желанию взрослого мужчины, давно познавшего плотскую любовь.

Теперь он смотрел на Оленьку другими глазами: вместо призрачного видения перед ним была женщина из плоти и крови, женщина, не до конца осознающая природу своей новой красоты и оттого еще более притягательная и манящая. Каждое ее заурядное движение – полусонное, медленное и текучее – теперь казалось Володе слабым отблеском грядущих ласк и объятий, обещанием той последней близости, до которой он не допускал ни себя, ни ее. Будь они сверстниками, давно бы уже оказались в одной постели, но он был взрослый мужчина, а она – почти что ребенок, и потому Володя не делал даже попытки продвинуться дальше целомудренных объятий и поцелуев.

Так тревога снова вернулась к нему – и теперь это была тревога не только за себя, но и за Оленьку, может быть, даже и за Женю.

Володя знал, как непрочны то, что связывает двух людей, и, возможно, поэтому ему хотелось, чтобы их с Оленькой первый раз был исполнен торжественности и даже некой церемонности, которые навсегда выделили бы эту ночь из череды заурядных дней человеческого бытия. Столетия назад для этого придумали венчание, но, отменив Бога, советская власть отменила и старые обряды, и накануне отъезда в Куйбышев Володя с Оленькой вместо свадьбы просто зашли в загс и быстро расписались. Было бы странно приурочить их первую ночь к такому скучному бюрократическому событию, и Володя решил подождать, пока они приедут в Куйбышев, где их ждала отдельная, их собственная квартира.

Разумеется, *их собственная квартира* принадлежит не им, а КуАИ, да и вообще, частная собственность на жилье, наверно, отомрет еще до полного построения коммунизма: Володя недавно слышал об этом, проходя мимо аудитории, где старый большевик Мензуев читал лекции по «Краткому курсу истории ВКП(б)», слышал и поморщился, поскольку уже считал эту еще не полученную квартиру только своей, его и Оленьки.

Но как бы Володя ни хотел отсрочить их первую ночь до получения собственного жилья, месяц в одной комнате общежития оказался слишком большим испытанием: временами зов плоти бывает почти неодолим (те, кто столетия назад придумал венчание, много говорили и писали об этом), и потому однажды Володя и Оленька, возможно, сами того не желая, все-таки покинули территорию поцелуев и объятий, обжитую за последние полгода.

Это случилось в пропахшей клопами и квашеной капустой общаге авиаинститута, случилось уже давно, в начале второй недели их жизни в Куйбышеве, случилось поспешно и торопливо, неловко и немного стыдно, совсем не так, как хотел Володя.

Конечно, потом, словно желая исправить упущенное, они еще несколько раз занимались любовью на скрипучей общажной кровати, но все равно, сегодня особенный день, они впервые вместе в своей квартире, и вот Володя раздвигает тахту, осторожно стелет простыню, укладывает подушки и одеяла. Лежа в постели, смотрит, как раздевается Оленька: выскальзывает из шуршащего платья, скидывает туфли, спускает вдоль ноги фильдеперсовые чулки (химик Володя, конечно, уже знает о появлении капрона, но пройдет десять лет, прежде чем он сможет преподнести жене упаковку чулок, сморщенных и невесомых, словно лягушачья кожа из русской сказки). Она с чарующей неловкостью тянется к застёжке лифчика, замечает Володин взгляд и командует: *Отвернись!* – и теперь лишь фантазия подгоняет изображение под еле слышные звуки: вот заскрипела кровать – Володя тянется к Оленьке, но она ускользает из объятий: *а свет выключить?* – возвращается босыми ногами по рассохшемуся паркету, отодвигает край одеяла, ложится, прижимается... Хотя все равно в тем-

ноте ничего не видно, Володя открывает глаза и различает в сумраке ночной комнаты слабое сияние светлых Оленькиных волос.

Заскрипела кровать, пошлепали по рассохшемуся паркету босые ноги (погасла полоска света под закрытой дверью кухни), паркет опять отозвался на Олины шаги, снова скрипнула тахта, стало тихо, а затем скрип вернулся, сперва нерешительный и слабый, потом резкий, ритмичный, ускоряющийся... Женя закрывает руками уши, но даже сквозь вспотевшие ладони по-прежнему доносится *скрип-крип, скрип-крип, скрип-скрип-скрип* – и тут вступает глубокий женский голос, выдыхает один лишь звук – *АААААА!* – и наконец наступает тишина, финальная и окончательная, как в могиле.

Женя поворачивается на другой бок, раскладушка предательски скрипит, Женя закрывает глаза и уже почти засыпает, когда приоткрывается, чуть взвизгнув, кухонная дверь и Володя, стараясь не шуметь, подходит к раковине и наливает себе воды. Сквозь приоткрытые ресницы Женя видит в пробивающемся через ситцевые занавески свете уличного фонаря его фигуру: широкие плечи, мускулистая спина, черные сатиновые трусы, маленький шрам на левой ноге, которого Женя никогда не видела раньше. Сейчас Володя кажется ей усталым и сытым хищным зверем – тигром? леопардом? львом?

Володя ставит пустой стакан на стол и уходит, не взглянув на неподвижную Женю, которая так старательно притворяется спящей, что за эти две минуты у нее уже, кажется, затекло все тело.

Потом наступает тишина, все трое засыпают, почти одновременно.

* * *

Иногда бывает, что люди, посетившие мир в *его минуты роковые*, не замечают этого и испытывают блаженство совсем по другому поводу. В 1948 году случилась блокада Берлина и возник Израиль; историки вспомнят землетрясение в Ашхабаде, разгром советской генетики, борьбу с космополитизмом (во всем) и формализмом (в музыке), но трое молодых людей, недавно переехавших в Куйбышев, почти не обращали внимания на эти исторические события. Конечно, в институтах до сведения студентов и преподавателей регулярно доводили последние новости – сессия ВАСХНИЛ, триумф Лысенко, постановление об опере «Великая дружба», сталинский план преобразования природы, так что Володя должен был хотя бы об этом слышать, а Женя, скорее всего, даже умела пересказывать новости на политической информации или экзамене.

Но все равно главным событием 1948 года для всех троих стало ожидание: они ждали, пока год пройдет и наступит январь, тот самый месяц, на который седовласый старорежимный доктор с пергаментной пятнистой кожей и тихим голосом назначил роды.

– Восьмая неделя, – сказал он смущенной Оленьке. – Отсчитайте еще тридцать две, и будет вам искомая дата.

Они отсчитали – сначала на глазок («тридцать две недели – это восемь месяцев»), а потом уже по календарю, чтобы уж точно не промахнуться. Получился январь 1949-го, и они стали ждать.

Оленька ждала ребенка так же, как изо дня в день ждала с работы Володю: сидела у окна и смотрела на улицу, точь-в-точь как сидят на подоконнике кошки, следя глазами за пролетающими птицами. Стаял снег, появились первые листочки, зарядили весенние дожди, потом настало лето, душное и пыльное, к августу пожухла и повыгорела зелень, а потом ветви окрасились алым, желтым и багровым – пришла осень, за ней – зима. Когда в ноябре выпал снег, Оленька поняла, что они почти замкнули круг, еще немного – и пройдет год с тех пор, как они приехали в этот город, а еще через полтора месяца – год, как они живут в

этой квартире, а потом наступит май, и тут уже будет год, как она узнала, что ждет ребенка. Столько маленьких юбилеев, умилялась Оленька. Но прежде, чем круг замкнется, случится главное событие, единственное, которое еще много-много лет они будут отмечать каждый год, – день рождения ее ребенка, их ребенка. Сейчас остается только ждать, и Оленька сидела у окна и смотрела на улицу, словно ребенок мог прийти, как приходили домой муж и сестра.

Женя и Володя ждали иначе, хотя их жизнь была подвластна почти тем же сезонным ритмам. Шесть дней в неделю – лекции, семинары, практикумы, затем воскресенье, следом все повторяется, пока не наступает время зачетов, а потом экзаменов, и в конце концов в последнюю неделю июня перед ними вдруг оказывались два восхитительных летних месяца, непривычно выбивающиеся из их жизненного ритма. Володя принимал вступительные экзамены и прорабатывал в библиотеке два новых курса, которые собирался прочесть осенью, а Женя гуляла с Оленькой по набережной Волги, глядя, как старые, еще дореволюционные пароходы лениво крутят колесами в теплой сонной воде. Они обсуждали, как назовут ребенка, уверенные, что придумают имя, а Володя сразу согласится. Спорили долго и наконец решили, что девочка будет Светой, а мальчик – либо, как хотела Женя, Валерой, либо, как хотела Оленька, Борисом.

Им казалось, у них еще много времени, чтобы решить окончательно, но однажды ноябрьским вечером, когда они втроем, как обычно, сидели за столом и Женя читала вслух Чехова, Оленька вдруг скорчилась, схватившись за не-такой-уж-огромный живот, – и вот уже «скорая» увозит ее в городскую больницу, а Женя и Володя переглядываются смущенно и тревожно.

На следующий день Женя, размахивая студбилетом мединститута, прорвалась к заведующей отделением. Сухая поджарая женщина в тяжелых роговых очках недовольно буркнула:

– Прекратите истерику! Вы же будущий врач! Полежит у нас недель пять-шесть и родит как миленькая! Все будет нормально с вашей подругой!

– Она мне сестра, – зачем-то сказала Женя, и заведующая в ответ пожала плечами: мол, и с сестрой тоже будет нормально, какая разница, кто она вам?

Возвращаясь домой, Женя впервые за все эти месяцы подумала: как мы будем жить вчетвером? Захотят ли Оленька с Володей, чтобы я осталась? И этот младенец... вдруг он будет маленький, красный и орущий? Я ведь вообще-то не очень люблю детей.

Без Оленьки дома стало пусто. В первый же вечер Женя по привычке приготовила ужин на троих и теперь каждый день одергивала себя: нас же двое! Это было непривычно: в Москве она жила втроем с Оленькой и тетей Машей, в Куйбышеве – с Оленькой и Володей. Когда она жила вдвоем? Еще до войны, когда была маленькой грустной девочкой, – с мамой в крохотной коммунальной комнатухе.

Теперь квартира кажется неожиданно просторной, а по ночам Женя все вслушивается – не раздастся ли сонное дыхание сестры, к которому она так привыкла за эти шесть лет?

Но нет, Оленька спит в больничной палате, и по ночам только восемь других беременных слушают ее посапывание, совсем им не нужное, ничего для них не значащее.

Впервые за много лет Женя жила с кем-то вдвоем; впервые в жизни – вдвоем с мужчиной. По вечерам, ужиная, они рассказывали друг другу о том, что случилось за день, пар поднимался над стаканами сладкого чая, лампа под бумажным абажуром слабо качалась, и их тени скользили по протертым обоям, залезали на выщербленный стол, устало замирали на полу.

Они и сами не помнили, кому первому пришла в голову идея к возвращению Оленьки сделать в квартире ремонт. Речь, конечно, не шла о настоящем, серьезном ремонте – нет, хотя бы переклеить обои, прибить у входа крюки для пальто, выделить в комнате уголок, где будет

стоять кровать. Несколько дней оживленно обсуждали план: вот представь, возвращается Оленька и – *ух ты! Я даже не узнаю нашу комнату! Когда это вы все успели?* – впрочем, глупый вопрос, времени полно, еще несколько недель.

– Послушай, – волновался Володя, – а вдруг ей не понравятся новые обои?

– Понравятся, – отвечала Женья. – Я знаешь как давно с ней живу? Что я, вместо нее обои не выберу?

Выбирать, правда, было особо не из чего: в промтоварном было всего два вида обоев – синие с ромбами и багрово-красные с вертикальными золотыми полосами, как праздничные знамена. Женья, разумеется, выбрала синие – к тому же они были и дешевле.

– Красивые, – кивнул Володя, рассматривая вечером развернутый на столе рулон. – Надеюсь, Оленьке действительно понравится.

– Понравится, поверь мне.

– Знаешь, – сказал Володя, помолчав, – мне иногда кажется, что она у меня сама – как ребенок. Может, это потому, что я все-таки ее старше, а может, потому, что только мы стали жить вместе, как она и забеременела...

– Она всегда такая была, – сказала Женья. – Большой ребенок. Девочка, о которой надо заботиться. И возраст тут ни при чем – я ее вообще на год младше.

– Ну, ты – это другое дело! – Володя широко улыбнулся, и, как всегда от его улыбки, внутри у Жени что-то ёкнуло и расплылось теплым счастливым пятном. Она тоже слабо улыбнулась в ответ, и у нее сразу пропало желание рассказывать, с каким трудом она донесла до дома эти десять злосчастных рулонов, которые, как выяснилось, куда тяжелее, чем она думала в магазине.

Ремонт назначили на воскресенье. Тахту вытащили на середину комнаты, стол и стулья запихнули на кухню, тем самым отрезав себе путь к раковине. Володя снял с плиты кастрюлю с клеем, Женья растелила на полу первый рулон, завязала на голове цветастую косынку, вооружилась кистью и сама себе показалась похожей на какого-то пирата из кино.

– Начали! – скомандовала она.

Только начав клеить обои, они сообразили, что никогда даже не видели, как это делается. В конце концов все получилось, но до того полрулона обоев было безнадежно испорчено, а Володя перепачкал в клее майку, и пришлось ее снять, так что теперь он ходит голый по пояс, будто они выбрались на пляж или собираются купаться. Женья то и дело поглядывает на Володю, видит, как он тянется вверх, чтобы выровнять верхний край, и под его загорелой кожей перекачиваются крепкие мышцы. Женья смотрит и любит, хотя ей немного неловко, как всегда в те моменты, когда она должна напоминать себе, что Володя – Оленькин муж, отец Оленькиного ребенка.

Я хотела жить с ними вместе – вот и живу, говорит себе Женья, а большего мне и не надо, но тут Володя трогает ее за плечо, и Женья быстро опускает голову, чтобы Володя не увидел, как она краснеет.

Что же это такое, думает Женья. Мы живем почти год в одной квартире, а стоит ему меня коснуться, у меня кровь приливает к щекам и кружится голова. Это же просто невозможно, это глупо, это стыдно, но что же я могу поделать?

Что поделать? Женья знает ответ. Когда родится ребенок, я уйду, думает она. Никто даже ни о чем не догадается, всем понятно: здесь и для троих мало места, а вчетвером – совсем никуда. Вернусь в общежитие, буду приходить в гости. Я смогу, я сильная. Да и вовсе я не хочу жить в квартире с ребенком, вообще не люблю детей.

Она приняла решение, и теперь ей гораздо легче. Женья еще раз проводит кистью по куску обоев и протягивает его Володе.

К обеду комната почти закончена. Женя пробирается на кухню разогреть вчерашние щи. Володя курит у открытого окна и рассказывает, что в ближайшие годы химия наверняка предложит синтетический клей, точнее, много разных клеев для разных случаев жизни.

– Скажем, обои он к стене приклеивает, а майку – нет.

Женя смеется:

– Посмотрим-посмотрим, успеет ли твоя химия к нашему следующему ремонту.

– А когда у нас запланирован следующий ремонт? – интересуется Володя.

– Тут все от вас зависит, – отвечает Женя. – Как отправится Оленька рожать нам следующего ребенка, так и будет нам следующий ремонт.

С большим трудом они втискиваются на заставленную кухню, Женя разливает суп по тарелкам.

– А вот помнишь, – говорит она Володе, – ты в Москве все про синтетику рассказывал, говорил, что хочешь делать новые полимеры? Тебе в твоём институте удастся?

Володя как-то мрачнеет.

– Знаешь, – отвечает он, – я решил завязать с наукой.

– Чего это? – удивляется Женя.

Володя некоторое время молча ест, потом говорит:

– Вкусные у тебя щи.

После обеда они возвращаются в комнату. Я бы хотела, чтобы этот день никогда не кончался, думает Женя, жалко даже, что у нас такая маленькая квартира, – но тут Володя цепляет мокрым куском обоев свои штаны, деликатно ругается *вот же черт!* – и Женя говорит:

– Да уж, пока одни химики изобретают синтетический клей, другие только одежду пачкают!

Володя берет следующий кусок обоев и, прикладывая его к стене, спрашивает:

– Вот ты помнишь Валентина Ивановича?

– Твоего однокурсника?

– Не совсем, – говорит Володя. – Мы познакомились на химфаке, но он тогда уже закончил аспирантуру, он лет на пять меня старше.

– Выглядит, будто на все пятнадцать, – вспоминает Женя.

– Это потому... короче, потому, что у него такая работа. Он мне рассказал, что, когда закончил химфак, его и группу других талантливых ученых специально отобрали для секретных работ... поселили где-то под Казанью, и там они и работали – и до войны, и во время войны.

– А что они делали?

– Ну, я не спрашивал. – Володя пожимает плечами. – Понятно, что какое-то оружие. Если учесть, что сейчас Валентин занимается гидридами и окислителями, видимо, сам он делал топливо для наших «катюш» или других ракет.

– Понятно, – машинально отвечает Женя, хотя ей непонятно – ни что такое гидриды и окислители, ни, главное, почему у Володи такой напряженный голос. Он даже говорит тише, чем обычно, хотя вроде бы никаких секретов, обычный треп про знакомых.

– И Валя, когда мне это рассказал, объяснил, что, наверное, его снова туда скоро пошлют.

– Разве это не хорошо? – недоумевает Женя.

– Как тебе сказать... – отвечает Володя, продолжая прилаживать к стене все тот же несчастный кусок обоев. – Он же там живет взаперти, на строго секретном производстве. Ни семьи, ни друзей, ни переписки.

– А отказаться можно?

– Отказаться нельзя, – только и говорит Володя.

Женя смотрит ему через плечо и видит, что он продолжает разглаживать обои на стене, раз за разом проводя рукой по одному и тому же месту, и с обоев уже слезает верхний слой бумаги.

– Эй! – восклицает она. – Ты что творишь-то? Давай, следующий кусок пора клеить – или этот отдираешь, если ты в нем дырку проковырял.

Володя оборачивается.

– Ты не поняла, – говорит он. – Это был ответ на твой вопрос. Про науку.

– А как?.. – начинает Женя, но осекается: у Володи серое, незнакомое лицо.

– А вот так. Нет никакой разницы – гидриды с окислителями или синтетические материалы. Кто же знает, что им завтра понадобится? А мне так нельзя – у меня Оленька, у меня ребенок вот-вот родится. Как я там буду без них, взаперти? Вот я и решил – лучше останусь просто преподавать. Уж преподаватели нигде, кроме институтов, не нужны. Авось и проне-сет.

– Я думала, тебе нравится преподавать.

– Мне нравится, но мне в жизни много что нравилось, да не всем, к сожалению, удастся заниматься.

– Я помню, – вспоминает Женя. – Ты говорил, что в школе хотел быть не ученым, а...

– Тс-с-с! – Володя прикладывает палец к ее губам, и Женя понимает, что еще секунда – и она поцелует этот палец, а потом, наверное, схватит Володю за руку и будет целовать ее, целовать, пока... но тут Володя убирает руку и совсем обыденно говорит: – Ладно, давай лучше обои доклеим, хватит уже, поговорили.

Господи, думает Женя, как хорошо, что я уже все решила. Еще пара недель – и все.

Пройдет много лет, и Женя увидит по телевизору знакомое круглое лицо, очки в тонкой оправе, а закадровый голос сообщит о награждении крупного советского ученого Валентина Ивановича Глуховского очередным орденом за работы, связанные с освоением космоса и повышением обороноспособности нашей страны. А еще через четверть века Андрей придет в богатую академическую квартиру, чтобы взять у патриарха советских ракетных войск интервью для глянцевого журнала, тщившегося казаться военно-историческим. Валентину Ивановичу будет уже под девяносто, но он напористо и воодушевленно расскажет молодому журналисту, в какое время ему довелось жить, как ковался ракетный щит Страны Советов и как толково Лаврентий Павлович организовал рабочий процесс. Интервью пройдет незамеченным, но лет через семь Андрей увидит анонс ток-шоу «Берия: кровавый палач или эффективный менеджер?», вспомнит свою статью и устыдится. К тому моменту сам Валентин Иванович уже пару лет как торжественно упокоится на Новодевичьем кладбище – хотя умри он двадцатью годами раньше, похороны были бы попышней.

Заведующая все-таки ошиблась: пяти-шести недель Оленька не вылежала, родила через четыре, в самом конце декабря, – вполне, впрочем, здорового, крепкого малыша. Володе позвонили в учебную часть, поздравили с сыном и строго-настрого наказали раньше завтрашнего дня не приходить: к роженице все равно не пустят, и даже к окну она сегодня не подойдет. Володя хотел было бежать искать Женю, но сообразил, что не знает, в каком корпусе мединститута у нее сейчас занятия. По дороге домой зашел в винный, долго выбирал между водкой и бутылкой фруктового вина; вспомнив, что Женя водку не пьет, взял вино.

Вечером они выпили эту бутылку, почти не закусывая. Женя быстро опьянела и, только когда оставалось на самом доньшке, вспомнила, что забыла сказать самый главный тост. Подняв стакан с буровой жидкостью, она торжественно произнесла:

– Ну а теперь – за здоровье маленького Бориса!

С лица Володи сбежала улыбка.

- Его не будут так звать, – сказал он.
- Почему? – спросила Женья и даже почти протрезвела от удивления.
- Потому что я не хочу. – И Володя поставил недопитый стакан на стол.
- Хорошо, – сказала Женья, – пусть тогда будет Валера. Это устраивает?
- Конечно, – ответил Володя и сам провозгласил: – За Валерино здоровье!

И когда они выпили остатки вина, Женья подумала: да, она все решила, она не передумает, но все же как ей будет не хватать этих вечеров за круглым столом, особенно вот этих, последних, когда они с Володей вдвоем, только он и она.

Туманным декабрьским утром Женья и Володя стоят у окон горбольницы. Зябко, с неба крупными хлопьями падает белый липкий снег. Время от времени Володя прикладывает руки ко рту и что есть силы орет: «ОЛЕНЬКА, ОЛЕНЬКА!» – но потом начинает кричать просто «ОЛЯ! ОЛЯ!» – так короче, и сейчас в снегу он напоминает Жене белого медведя, добродушного белого медведя из какого-нибудь мультфильма; он кричит «ОЛЯ!» снова и снова, и наконец через полчаса Женья замечает за стеклом второго этажа какое-то движение, а потом створки распахиваются и появляется Оленька – осунувшаяся и сияющая от счастья новым, незнакомым Жене радостным светом. Оленька машет рукой, на мгновение исчезает, а потом возвращается со свертком, тычет пальцем куда-то вглубь намотанных пеленок, но тут прибегает нянечка, пытается закрыть створки, и вдруг до Жени доносится слабый *мяв*, будто в Оленькином свертке не мальчик, а котенок. Не сводя глаз с закрывшегося окна, Женья берет Володю за руку. Его ладонь – теплая и шершавая, и неожиданно Володя крепко, почти до боли, сжимает холодные Женины пальцы. Женья стискивает его руку, а в ее ушах все еще звучит слабый детский вскрик.

И вдруг она понимает, понимает пронзительно и обреченно: все уже случилось, случилось прямо сейчас, случилось, стоило ей услышать этот голос, жалобный и беззащитный. Да, она полюбила этого младенца, этого ребенка, этого мальчика, полюбила сразу и навсегда.

Растерянная Женья стоит, стоит, держа за руку чужого мужа, под мягко опускающимся снегом, в белом больничном саду, стоит и повторяет: *Валера, Валера*, словно хочет поскорее привыкнуть к этому имени.

3

Июльским днем 1949 года Женя и Володя сидели на берегу Волги. Володя нервно теребил в руках папиросу «Казбек», никак не решался зажечь. Потом сунул обратно в мятую пачку (джигит на фоне горы – очевидно, Казбека), повернулся к Жене и снова заговорил. Женя никак не могла привыкнуть к этому его новому голосу – вялому, тихому, слабому. Раз за разом он повторял, что он устал, что за семестр ни разу нормально не подготовился ни к единой лекции, что в сессию – *ты представляешь, Женька?* – заснул, слушая ответ на экзамене по органической химии. Было очень стыдно, до сих пор стыдно... на секунду закрыл глаза – и все.

Женя слушала, кивая и не переставая покачивать коляску – вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Валерик, слава богу, лежал тихо, возможно, даже спал, но Женя знала: стоит остановиться, и он тут же проснется, разрыдается, *устроит концерт*.

Я ведь не жалуюсь, говорил Володя, я ведь понимаю, что и тебе, и, главное, Оле еще труднее! Но ничего не могу поделать – иногда такое отчаяние... а что мы будем в сентябре делать?

Женя кивала, баюкая Валерика: большая взъерошенная птица машет головой. Ей казалось, она может заснуть прямо здесь – слушая Володю, качая коляску. Последние месяцы ей постоянно хотелось спать... им всем постоянно хотелось спать.

Кроме Валерика.

Он почти не спал днем, а если засыпал ночью, то просыпался с зычным, требовательным воплем, и разбуженная Женя нет-нет да вспоминала тихий беспомощный голосок, донесшийся со второго этажа роддома. Может, думала она, младенца незаметно подменили? Вместо тихого подсунули громкого, вместо спокойного – буйного? А может, он специально тогда так тихонечко мявкнул, чтобы подцепить на крючок ее, Женю? Теперь-то ей уже некуда деться, а ведь тогда она была готова уйти...

Это, конечно, глупости. Просто младенец родился слабым, силенок не было, а теперь вырос и окреп, ну и голос тоже – вырос и окреп. А все эти мысли – «подменили», «он это специально» и все такое прочее... – бред, конечно. Она же не Оля, чтобы повторять чушь? Хотя можно ли Олю винить? Сначала – четыре недели в больнице, потом роды, хоть и на пару недель, но все же преждевременные. А затем первые две недели – ни капли молока! Оля совала сосок в рот рыдающему Валерику, теребила, сжимала и массировала большие груди, выпивала литр молока в день, но все напрасно.

Конечно, было специальное молоко из молочной кухни: его по утрам, еще до ухода на работу, приносил Володя. Медсестра, раз в неделю взвешивавшая Валерика, уверяла, что вес в пределах нормы, динамика у младенца хорошая, так что зря вы, мама, огорчаетесь. Для того и есть молочная кухня, чтобы такие, как вы... Договорить ей не удалось: услышав «такие, как вы», Оля разрыдалась.

После родов Оля вообще стала часто плакать. Однажды, вернувшись с занятий, Женя застала сестру в слезах над маленьким зеркальцем.

– Что случилось?

– Не получается, – всхлипнула Оля.

– Кормить не получается? А зеркало зачем?

– Да нет, какое там кормить. – Оля посмотрела в зеркало и дернула лицом. – Вот это не получается, ну, помнишь, я умела носом вот так делать?

Женя рассмеялась:

– Тоже мне, страшная беда! А я уже испугалась!

– Это тебе не беда, – с обидой сказала Оля, – потому что ты никогда так не умела. А я, между прочим, весь девятый класс на это потратила!

– Ладно, Оля, извини, – сказала Женя и вдруг поняла, что после рождения Валерика они больше не зовут Олю Оленькой, будто Володя, когда вызывал жену к окну роддома, дал ей новое имя, которое лучше подходит женщине, которой та стала теперь, после переезда в Куйбышев, жизни в общежитии, беременности и родов.

Молоко появилось только в конце января – да так, словно у Оли внутри включился молочный завод, который весь этот месяц скрыто работал и накопил большой запас продукции. Теперь Оля кормила Валерика каждый час, иначе грудь не удерживала молока, и Женя то и дело замечала на платке сестры темные пятна.

– Я себя чувствую какой-то коровой, – жаловалась Оля. – Меня все время доят.

Медсестра посоветовала кормить младенца по расписанию, но Оля не выдержала больше одного дня.

– Нужно мне их расписание, – объяснила она Жене. – Валерик орет, мне мокро, ну его!

Через две недели такой жизни младенец вошел во вкус и уже сам ежечасно требовал еды, почти не делая перерывов на сон. Оля пыталась класть его с собой в постель, чтобы Валерик ел, не просыпаясь, но тут взбунтовался Володя.

– Пойми, – сказал он Оле, – я отлично могу поспать на полу, но вдруг ты задавишь его ночью? Ну, спросонья?

Оля, кажется, обиделась («Как это мать может задавить младенца, что еще за глупости?»), но брать Валерика в кровать перестала – и тогда перестали спать все трое: каждый час их будил детский крик – громогласный, исполненный мощи и уверенности в своих правах. Оля весь день сомнамбулой ходила по квартире и что-то бормотала себе под нос. Она похудела, кошачья грация исчезла, будто Оле вновь стало пятнадцать, но вместо былой кукольной красоты она обрела какой-то странный декадентский надрыв: лицо осунулось, под глазами лежали черные круги.

Володя предложил спать по очереди, а вместо груди давать Валерику бутылочку с детским питанием или сцеженным Олиным молоком, но Валерик, который совсем недавно легко выдувал по сто пятьдесят грамм молочной смеси, теперь наотрез отказывался брать бутылочку. Оле опять пришлось кормить его самой, а остальным – просыпаться каждый час от истошного детского крика.

Когда студенческие каникулы закончились, Женя стала сразу после занятий бежать домой: ей казалось, пока Оля вдвоем с Валериком, с мальчиком что-нибудь случится: она спросонья его уронит или заснет и не услышит криков. Однажды Женя сказала об этом Володе, но он, приглушив свою привычную тревогу, только посмеялся: *думаешь, легко его не услышать?* Женя ненадолго успокоилась, но однажды еще в подъезде была встречена требовательным воем. Она влетела в квартиру: Оля с неподвижным лицом сидела у окна, Валерик надрывался в кроватке.

– Что случилось? – спросила Женя.

– Ничего, – ответила Оля, пожав худыми плечами, – мне просто все это надоело. Покормила три месяца – и хватит. Пусть ест что хочет. Хоть из молочной кухни, хоть откуда. А я коровой больше работать не буду.

– Это как? – не поняла Женя.

– Очень просто. Не буду кормить – и все. Говорят, через несколько дней молоко само пропадает.

Вечером Володя попытался Олю уговорить, но она дернула щекой и отвернулась к окну:

– Если хочешь, сам корми. Или вон пусть Женька покормит. У нее сиськи тоже есть, хоть и маленькие. Но, говорят, можно рассосать.

Женя почувствовала, как слезы приливают к глазам.

– Я бы рада... – начала она, но замолчала, чтобы не разрыдаться.

Всю ночь Женя и Володя по очереди укачивали истошно орущего Валерика. Оля лежала лицом к стене – наверное, тоже не спала, но виду не подавала. Утром Женя прибежала к открытию молочной кухни и – о радость! – когда она вернулась, Валерик взял бутылочку.

– Я его переупрямила, – сказала Оля, по-прежнему глядя в стену.

В ее голосе Жене слышалось мрачное удовлетворение, смешанное с каким-то непонятным отчаянием. Со спины Оля напоминала поломанную куклу, брошенную в углу детской.

– Вот и хорошо, – сказал Володя ненатурально бодрым тоном, – теперь сможем дежурить посменно и хоть немного высыпаться.

– На меня не рассчитывайте, – сказала Оля, – я свое отдежурила.

Женя рассмеялась: она хорошо знала Олины интонации и все-таки надеялась, что это шутка.

Но нет, Оля не шутила: она перестала подходить к Валерику и теперь весь день лежала лицом к стене, ковыряя пальцем узор на обоях. Диван стоял как раз напротив листа, испорченного Володей при ремонте. Дырка разрасталась с каждым днем, и, глядя на нее, Женя думала, что надо было купить обоев про запас, чтобы не переклеивать все.

Дни, когда она жила вдвоем с Володей, Женя старалась не вспоминать. Это было давным-давно и казалось вымыслом, почти сказкой. Целый месяц вдвоем с мужчиной, которого любила, почти как муж и жена. Это было чудо. Оно случилось однажды – и больше никогда не повторится.

Как-то раз Женя задремала, кормя лежащего в кроватке Валерика, – совсем ненадолго, возможно, всего на мгновение, но и этого мгновения хватило, чтобы увидеть: они с Володей стоят посреди разложенных обоев, только на этот раз обнажена по пояс Женя, Володя тянется губами к ее соску, а она обхватывает руками его голову, изо всех сил прижимая к груди.

Валерик уронил соску и заплакал, Женя очнулась. Оля с дивана смотрела пристально, подозрительно, и на секунду Женя испугалась, что сестра увидела этот сон вместе с ней.

– Извини, Валерик, я тут вздремнула, – нервно улыбаясь, сказала она и поправила соску.

Оля молча отвернулась – она вообще теперь мало говорила.

Приближалась летняя сессия. В любую свободную минуту – то есть когда не спала и не нянчила Валерика – Женя открывала учебник, но обычно засыпала, не прочитав и полстраницы. Разрываясь между ребенком и институтом, она снова и снова винила себя за лень и слабование.

В апреле Женя заметила, что не всегда помнит, где была только что: так она догадалась, что иногда засыпает на ходу. Дни проходили в тревожном сумраке между сном и явью, моменты осознанного бодрствования были редкими и внезапными, во время одного из них она увидела, что уже несколько минут тычет соской в раскрытый учебник анатомии, и тут же разрыдалась так громко, что Валерик из кроватки посмотрел на нее с удивлением и, кажется, даже с уважением.

Но, может, почудилось.

С кухни прибежал Володя, обнял, погладил по взъерошенным волосам, спросил:

– Ты что, боишься не сдать сессию?

Женя кивнула, всхлипывая.

– Ну, так не сдавай, – сказал он, – возьми академ. Зимняя сессия у тебя неплохая, объяснишь ситуацию, все поймут. В крайнем случае – я позвоню.

– А так можно? – спросила Женья, боясь спугнуть растекавшуюся по телу теплую спокойную волну.

– Конечно, – пожал плечами Володя. – Извини, я раньше не догадался сказать. Тоже не высыпаясь, наверное.

За две недели Женья обо всем договорилась в деканате, и оттого, что больше не надо было думать об экзаменах, весь май ее переполняло счастье – немного неуместное, если учесть, что Володя до позднего вечера принимал зачеты и лабораторные и спали они по-прежнему несколько часов в день.

Потом наступила сессия, за ней – каникулы. Вдвоем справляться с Валериком стало куда легче, но Женья знает: осенью Володя вернется в свой институт, и потому сейчас, когда он говорит «я просто не понимаю, что мы будем делать в сентябре», Женья поднимается и отвечает:

– Пойдем домой. Нам Валерика через полчаса кормить.

Ей кажется: еще одно слово о сентябре – и она разрыдается.

Они идут вдоль берега Волги, левой рукой Володя катит коляску, а правой неожиданно берет Женью под руку.

– Спасибо тебе, – произносит он. – Я думал, если об этом не поговорю, то просто сойду с ума.

Последние недели Оля вела себя так тихо, что, вернувшись, они даже не сразу понимают, что ее нет дома: только старый халат валяется на диване, там, где обычно лежит она.

– Господи, господи, – нелепо, по-стариковски причитает Володя, – куда она ушла, в чем же она ушла?

Женья открывает шкаф: все на месте, кроме самых любимых Олиных туфель и купленного прошлым летом шелкового платья, изумрудно-зеленого, с огромными красными маками.

– Господи, – растерянно повторяет Володя, – что ж она вырядилась, как в театр? Где нам теперь ее искать?

– Может, заявить в милицию, пусть помогут? – предлагает Женья.

– Нет, милиции не надо, – неожиданно спокойно отвечает Володя. – Только милиции нам и не хватало.

Надеть шелковое платье! Самые любимые туфли! Расчесать волосы, чтобы спадали на плечи светлой волной! Взять с собой только ключи, ни коляски, ни сумки... выйти на улицу, просто так, без цели.

Что может быть лучше!

Оля, бывшая Оленька, идет по городу, и ей кажется – она в Москве. Вместо псевдорусских башенок Драмтеатра она видит Исторический музей, вместо цилиндрического клуба имени Дзержинского – клуб завода «Каучук», а скучные конструктивистские плоскости превращают Дом Красной армии в ее дом на Усачевке.

Родная Москва прорастает сквозь Куйбышев, превращая город изгнания в вечный и неизменный город Олиной судьбы, город, где она была счастлива, беспричинно, безответственно счастлива, не зная тогда, что будет изгнана, что будет мыкаться по общежитиям, не зная, что чужое существо, по какой-то нелепой ошибке считающееся ее сыном, заявит права на ее тело и ее жизнь.

Оля вспоминает последние полгода – ей кажется, это был один безбрежный черный день, глухой, как беззвездная ночь, пронизанный отчаянием, прочерченный болью.

Но сегодня светит солнце, ветер развеивает светлые волосы, можно забыть прошлое и глазеть по сторонам. И вот шаг за шагом этот город, весь год казавшийся Оле нелепостью, недоразумением, местом добровольной ссылки, предстает перед ней таким, каким его любят

местные: полузабытой, почти мифической Самарой, сквозь которую прорывается к будущему новый Куйбышев-град с его конструктивистскими зданиями, научными институтами, промышленными производствами. Не город купцов, а город ученых, рабочих, врачей. Тайная, запасная столица СССР, не случайно принявшая правительство во время войны.

Оля идет по набережной, прохожие улыбаются, она улыбается в ответ. Когда-то, давным-давно, именно так она и познакомилась с Володей. Она была тогда совсем молодой и глупой; сегодня она бы ни за что не позвала незнакомца к себе домой.

Оля смотрит, как лучи заходящего солнца окрашивают багровым низкие облака, и вдруг понимает: уже настал вечер. Пора возвращаться, говорит она себе и идет домой – небрежно и легко, словно юная девушка.

Оля открывает дверь: Женя кормит Валерика, Володя сидит за столом, подперев круглую голову руками, и встает, увидев Олю:

– Боже мой, где ты была?! Я полгорода обегал...

– Я просто гуляла, – улыбается Оля. – Давно никуда не выходила, совсем забыла про время. Прости, не сообразила, что надо было сказать...

Володя подбегает к ней – на мгновение Оля пугается: сейчас ударит! Но нет, он обнимает ее, прижимает к себе, тычется лицом в светлые вьющиеся локоны – и вдруг плачет, горько, навзрыд, почти как голодный Валерик.

– Так вот наш сын в кого! – Оля тоже обнимает Володю. – Не плачь, что ты. Все же хорошо, ничего не случилось.

– Я так испугался, – сквозь всхлипы говорит Володя, – я думал, ты...

Женя, продолжая кормить Валерика, молча выходит на кухню. Володя и Оля опускаются на диван, не размыкая объятий.

– Мне просто хотелось погулять, – говорит она. – Я чувствовала себя такой никчемной последнее время... а теперь все хорошо.

– Оленька, любимая, – отвечает Володя, вытирая лицо, – конечно, я так рад, что все хорошо, это здорово, что ты погуляла. Я просто хотел сказать, ну, что когда ты лежала здесь на диване, это тоже было хорошо, ты же была со мной, ты была с нами.

– Какая польза, что я была с вами? – вздыхает Оля. – Я же видела, вы с Валериком убивались день и ночь, а я...

– При чем тут польза? – говорит Володя. – Разве от красоты должна быть польза? Какая нам польза от пения птиц? От заката? От синего неба?

– Но я же не небо и не закат, – улыбается Оля.

– Для меня ты – и птицы, и закат, и небо, – отвечает Володя. На лице его нет ни тени улыбки, а глаза серьезны и печальны. Он молча смотрит на Олю, потом добавляет: – Ты делаешь мою жизнь счастливой просто тем, что ты со мной.

Женя сидит на шаткой кухонной табуретке, спиной к стене, чтобы не упасть. Одной рукой она держит Валерика, другой сует ему бутылочку. Валерик сосет плохо, вертит головой.

Оказывается, очень неудобно кормить младенца, сидя на табуретке.

Женя старается не слушать, но до нее все равно доносятся всхлипы и Володиные слова про любовь, про счастье, про *мне никого не нужно, кроме тебя*. Что отвечает Оля, Женя не разбирает, да оно, наверное, и к лучшему.

Наступает тишина, младенец, выпустив соску, глубоко и сосредоточенно моргает, как всегда перед сном, и Женя тихонько его укачивает, но тут из-за стены доносится тот давний *скрип-крип, скрип-крип*, впервые за много месяцев, первый раз после рождения Валерика.

Оказывается, с младенцем на руках очень неудобно затыкать уши, понимает Женя и удивляется внезапному горькому вкусу во рту.

Но она не двигается с места и только укачивает Валерика, невольно все точнее попадая в такт звукам из комнаты.

* * *

Когда ясным вечером 1954 года Женя вышла из массивных дверей мединститута, двое молодых людей ждали ее у подножия высокой лестницы. Один, невысокий кудрявый брюнет в легком парусиновом костюме и светлых сандалиях, ей помахал.

– Привет, мальчики, – помахала в ответ Женя, – как там ваши самолеты?

– Первым делом, первым делом сдать зачеты, – пропел его спутник на мотив из «Небесного тихохода», – ну а самолеты могут подождать.

– Без рифмы не смешно, – сказал брюнет.

– Тут есть рифма, просто она в первых строчках, – ответил второй юноша. – Дай минутку, и я придумаю.

– Похоже, Игорю надо было идти в литературный институт, – сказала Женя.

– Если такой есть, – заметил брюнет.

– Точно есть, в Москве. Я слышала, когда там жила.

Женя легко произносит эти слова, но уже сама не верит, что когда-то жила в Москве. Это было давным-давно, с какой-то другой девушкой. У нее даже не осталось там никаких знакомых, если не считать тети Маши, с которой они исправно поздравляют друг друга с Новым годом и Днем Революции. Странная она: когда Женя написала, что у тети Маши родился внук, та не только не предложила приехать, но даже не попросила прислать фотографию и ни разу за шесть лет не спросила, как у него дела. А могла бы, хотя бы из вежливости.

– Потому что мы с тобою не пилоты, нынче госы мы готовимся сдавать, – пропел Игорь, и его приятель тут же откликнулся:

– Первым делом, первым делом сдать зачеты, ну а самолеты могут подождать!

– Да мы с тобой просто как Лев Мирон и Марк Новицкий, – рассмеялся Игорь.

– Как Тарапунька и Штепсель, – сказала Женя.

– Как Миронова и Менакер, – предложил брюнет.

– Вот только зачеты мы уже сдали, – заметил Игорь, – да и госы тоже.

– Значит, Игорю придется сочинить куплеты про распределение, – сказала Женя, потому что не было уже сил обманывать саму себя: заседание комиссии назначено на эту пятницу, и, выходит, все будет решено через два дня.

Она много раз представляла этот день: вот комиссия объявляет распределение, Женя расписывается в приказе, проходит длинным коридором мединститута, пытаясь вспомнить карту: далеко ли? Сколько часов на поезде? А на самолете? Летают ли туда вообще самолеты? – потом приходит домой и говорит: «Ну что, ребята, давайте прощаться? Меня распределили в...» – и называет какой-нибудь город, которого Оля не знает совсем, а Володя, даже если знает, не может вспомнить, где в Советском Союзе он затерялся.

Обычно, дойдя до этого места, Женя начинала жалеть себя так, что слезы щипали в носу, словно пузырьки от шампанского. И сейчас, предлагая сочинить куплеты про распределение, чувствовала себя очень смелой – вдруг скажет и тут же разрыдается?

Но нет, она улыбалась, глядя, как Гриша хмурит лоб, крутит свои черные кудри и глядит вдаль, изображая Пушкина, именно в этой позе растиражированного в миллионах репродукций и тысячах фарфоровых статуэток.

В конце концов Гриша взмахнул рукой и торжественно продекламировал:

– Оставьте распри и деление, нас ждет одно распределение.

– Вот и неточно, – заметила Женя, – у каждого распределение свое.

– Но у каждого – одно, – возразил Гриша. – Как судьба: у каждого своя и у каждого одна. Так, подшучивая друг над другом, они дошли до набережной.

– Ну, мне пора, – сказал Игорь.

Женя заметила, что Гриша легонько кивнул в ответ, но, улыбнувшись, только помахала Игорю рукой.

– Мои приветы Владимиру Николаевичу, – крикнул тот, удаляясь.

– Передам, – прокричала Женя и, повернувшись к Грише, спросила: – Ну и что ты его отослал?

Игорь и Гриша были Володиными студентами, и Женя познакомилась с ними на новогоднем празднике, куда пришла с Володей и Олей. Она любила вечеринки авиаинститута – хотя бы за то, что именно там три года назад поняла, как любят Володю его студенты. В тот раз, на осеннем празднике в КуАИ, посвященном тридцать четвертой годовщине Октябрьской Революции, Володя стоял в плотном кольце третьекурсников, у которых в последнем семестре вел семинар по органическому синтезу. Затесавшись в их толпу, Женя сначала испугалась, что они будут говорить только о химии, но оказалось, что студенты – они и есть студенты: обсуждали Утесова и Уланову, подшучивали над каким-то Мензуевым – неизвестным Жене – и, конечно, друг над другом.

По дороге домой Женя спросила Володю:

– А почему они весь вечер вокруг тебя вились? У нас так делают, только если очень зачет нужен.

– С зачетами у меня это не помогает, – ответил Володя, – в этих делах я строг. Так что, видимо, им просто со мной интересно.

– Мне тоже с тобой интересно, – сказала Женя, – но не уверена, что я бы это поняла, если бы при первых встречах мы говорили о химии.

– Мы, кстати, говорили, – встряла Оля. – Помнишь, каучук и все такое?

Она обменялась с Володей полувзглядом-полуулыбкой: конечно, у них были общие, отдельные от Жени воспоминания.

– С тобой, может, и да, – сказала Женя, – а со мной точно нет.

– Так я же и с ними не говорю о химии, – ответил Володя. – Я их учу. Это совсем другое дело.

– Но ты их учишь химии?

– Я преподаю химию, а учу я – мыслить, потому что это единственное, чему можно научить. Можно преподавать физику, математику, немецкий язык, да хоть историю древнерусской литературы – тема не важна, важен метод и, как сказали бы немцы, рефлексия о нем. А поскольку для умного человека нет ничего интересней, чем мыслить, умным студентам со мной интересно. Вот и все.

– А меня ты тоже учишь мыслить? – спросила Оля. – Если да, мне кажется, у тебя не очень хорошо получается.

– Я тебя не учу, – сказал Володя, – я с тобой живу, а это разные вещи.

Женя хотела спросить: *а меня?* – но промолчала, потому что если Володя и учил ее чему-нибудь, то лишь во время их редких полусекретных встреч, о которых, по негласному уговору, они никогда не упоминали при Оле. Не упоминали, но никогда и не скрывали, что проводят время вдвоем.

Это началось, когда Валерка был совсем маленьким: они выходили погулять, забирались в какое-нибудь тихое место, садились в беседку, на скамейку или просто на ступени. Женя качала коляску, а Володя рассказывал про институтские дела или о том, что недавно прочитал: он немного читал по-немецки, а в городском букинистическом магазине время от времени появлялись трофейные книги. Видимо, какой-то библиофил привез из Германии, а теперь распродал по одной.

Потом Валерка подрос (и незаметно для всех перестал быть Валериком, став именно что Валеркой, озорным и немного хулиганистым пацаном), и теперь Женя с Володиёй просто шли после работы в одно из своих привычных мест. Женя сама не могла бы объяснить, как они догадывались, что им снова пора встретиться, – интервалы бывали от месяца до трех (и три, конечно, выпадали на зиму, когда все равно не ясно, где можно спокойно поговорить).

Жене нравились эти встречи – еще и потому, что Володя никогда не жаловался на Олю. Конечно, как и любая другая пара, Володя с женой время от времени ссорились, и, живя с ними в одной квартире, Женя об этом знала, но, хотя она часто была на Володиной стороне, ей не хотелось обсуждать Олю у нее за спиной: она ведь и с Олей не обсуждала Володю. Пусть уж, говорила она себе, их ссоры будут только их, а меня не касаются.

Впрочем, одна из этих ссор Жене хорошо запомнилась: Оля хотела сшить себе платье (ей очень хвалили портниху), Володя возражал, что платье слишком дорого для его преподавательской зарплаты. Оля наморщила носик – это умение давно к ней вернулось – и сказала, что вообще-то Володя видел, кого брал в жены. При жизни папы, добавила она, мама ни дня не работала и у нее было буквально все.

– Но и ты же знала, что я не в наркомате работаю, – ответил Володя.

– Да, но ты мог и дальше заниматься своей химией и стать, например, академиком, – сказала Оля. – А ты почему-то решил сделаться преподавателем провинциального института.

Володя промолчал, но через несколько дней спросил Женю, как она думает, не нужен ли в мединституте преподаватель химии? Так Володя дополнительно взял полставки и стал приходить домой еще позже.

Зато Оля могла шить себе любые платья на свой вкус.

Кроме ссор с Олей была еще одна тема, которой Володя никогда не касался, хотя Женя несколько раз пыталась его разговорить. Ни разу за все годы он ни слова не сказал ни о своих родителях, ни о родном городе... да и вообще – не вспоминал о том, что было до его поступления на химфак. Казалось, будто Владимир Дымов появился ниоткуда, соткавшись из летнего московского воздуха 1934 года.

Однажды Женя поняла, что в Куйбышеве он и о своем московском прошлом не говорит: кто-то из его студентов, придя в гости, искренне удивился, когда Женя сказала, что познакомилась с Володиёй в Москве.

– А как вы там очутились? – спросил молодой человек.

– Мы там жили, – ответила Оля, – все трое.

Глядя на озадаченное лицо собеседника, Женя не могла не рассмеяться – да и вообще, когда Володины студенты приходили в гости, ей часто бывало весело. Так Женя и познакомилась с Игорем и Гришей, и вскоре, незаметно для себя, они подружились: все трое студенты, примерно одного возраста, с воспоминаниями о военном детстве и мечтами о грандиозном будущем. Гриша хотел строить космические ракеты, Игорь – разработать принципиально новый тип топлива, а Женя – всего-навсего стать великим детским врачом.

Они были молоды, им казалось, их ждет волнующая, счастливая жизнь... и с каждым годом воспоминания о войне, голоде и смертях все реже и реже будили их по ночам. Им было легко вместе, они много смеялись – и вот почему светлым вечером 1954 года Женя с удивлением смотрит на Гришу, непривычно сосредоточенного и серьезного.

– Как ты думаешь, – говорит он, – куда тебя распределят?

– Понятия не имею, – отвечает она. – Скорее всего, в какую-нибудь провинцию. Надеюсь, что не в глухую деревню... туда все-таки обычно распределяют мальчиков. А тебя?

– Наверно, я могу выбирать, – отвечает Гриша. – Я отличник и к тому же – комсорг курса.

– И что ты выберешь? Казань, правильно?

Женя горда, что вспомнила, где ведутся самые главные ракетные разработки, но Гриша молчит, задумчиво глядя, как мимо них неспешно течет Волга.

– У тебя же распределение в эту пятницу? – спрашивает он.

– Ну да, – кивает Женя.

– А у меня – в понедельник.

– На два дня больше времени подумать?

Женя улыбается, но Гриша серьезно смотрит вдаль, а потом говорит:

– Я выберу тот город, куда распределят тебя.

«Почему я считала, что люди признаются в любви словами, специально придуманными ради этого признания?» – спрашивает себя Женя. Зачем обязательно говорить эти три затертых слова – «я люблю тебя»? Сегодня Грише было достаточно сказать, что он поедет туда же, куда и я, – и вот я стою перед ним, дура душой, словно он, например, опустился передо мной на колени, как Онегин перед Татьяной. Мне все равно нечего ему сказать.

Гриша переводит глаза с реки на Женю, и, краснея под его взглядом, она говорит:

– Спасибо.

– Ты знала?.. – спрашивает он.

– Это важно? – отвечает Женя, а сама думает: знает ли Володя, что я люблю его столько лет? И если знает, то когда догадался? Когда нас прижало друг к другу на восьмисотлетии Москвы и сердце чуть не выскочило у меня из груди? Когда я сказала, что поеду с ними? Когда осталась с ними жить, чтобы растить их ребенка?

– Я знаю, что ты любишь другого, – говорит Гриша, – и это тоже неважно. Важно, что я люблю тебя.

А еще важно, что тот, кого я люблю, останется здесь и со мной не поедет, говорит себе Женя. Я давно знаю, что в этом году мы расстанемся, но стараюсь об этом не думать. Я училась здесь семь лет, и да, я знала, что потом должна буду уехать. Думала отработать распределение и вернуться через три года, но, может, уже хватит возвращаться? Может, действительно уехать с Гришей? Валерке шесть, у Оли с ним все нормально, хотя я-то помню, что она выделявала первый год. А когда я говорила себе, что они не справятся без меня... так на самом деле я уверена – Володя справится. И с Олей, и с Валеркой – со всем справится.

А вот я... как я справлюсь без них?

Но тут Гриша обнимает Женю за плечи и мягко прижимается губами к ее губам.

Вот он, Женин первый поцелуй, – прозрачным летним вечером, на берегу великой реки, с человеком, который готов отправиться с ней на край света.

Женя бы предпочла, чтобы это был человек, с которым на край света готова отправиться *она*. Но Гришины объятия так нежны, а губы так упруги и настойчивы, что Женя обхватывает его руками, закрывает глаза и отвечает на поцелуй.

Да, Женя много раз представляла себе этот день: комиссия, длинный коридор мединститута, сдержанное прощание, слезы шибают в нос прокисшим новогодним шампанским. Она не раз разыгрывала эти сцены в воображении и уверена: реальность не принесет никаких сюрпризов.

И вот он теперь, ее сюрприз, ждет у подножия лестницы, нервничает, жадно затягивается – и отбрасывает папиросу, стоит Жене появиться.

Уже давно Гриша узнает Женю в любой толпе: быстрая подпрыгивающая походка, вечно взлохмаченные волосы, острые коленки, локти торчат в стороны, словно Женя добавляет себе объема, хочет казаться больше. Кошка поднимает дыбом шерсть, воробей топорщит перья, а его любимая лохматит волосы и топорщит худые локти. Она сбегает навстречу, и Гриша спрашивает:

– Ну, куда?

– Грекополь, – отвечает Женя, привыкая к тому, что теперь на целых три года это будет ее адрес.

– Ну, хорошо... тепло, море.

Звучит немного растерянно, нет? Женя смотрит ехидно, улыбается:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.